

Эрнст Теодор Амадей Гофман Крошка Цахес, по прозвищу Циннобер



Michael Seregin <http://lib.ru/GOFMAN/zahes.txt>

«Эрнст Теодор Амадей Гофман. Золотой горшок. Крошка Цахес, по прозвищу Циннобер»:
Азбука-классика; Москва; 2005
ISBN 5-352-01473-8

Аннотация

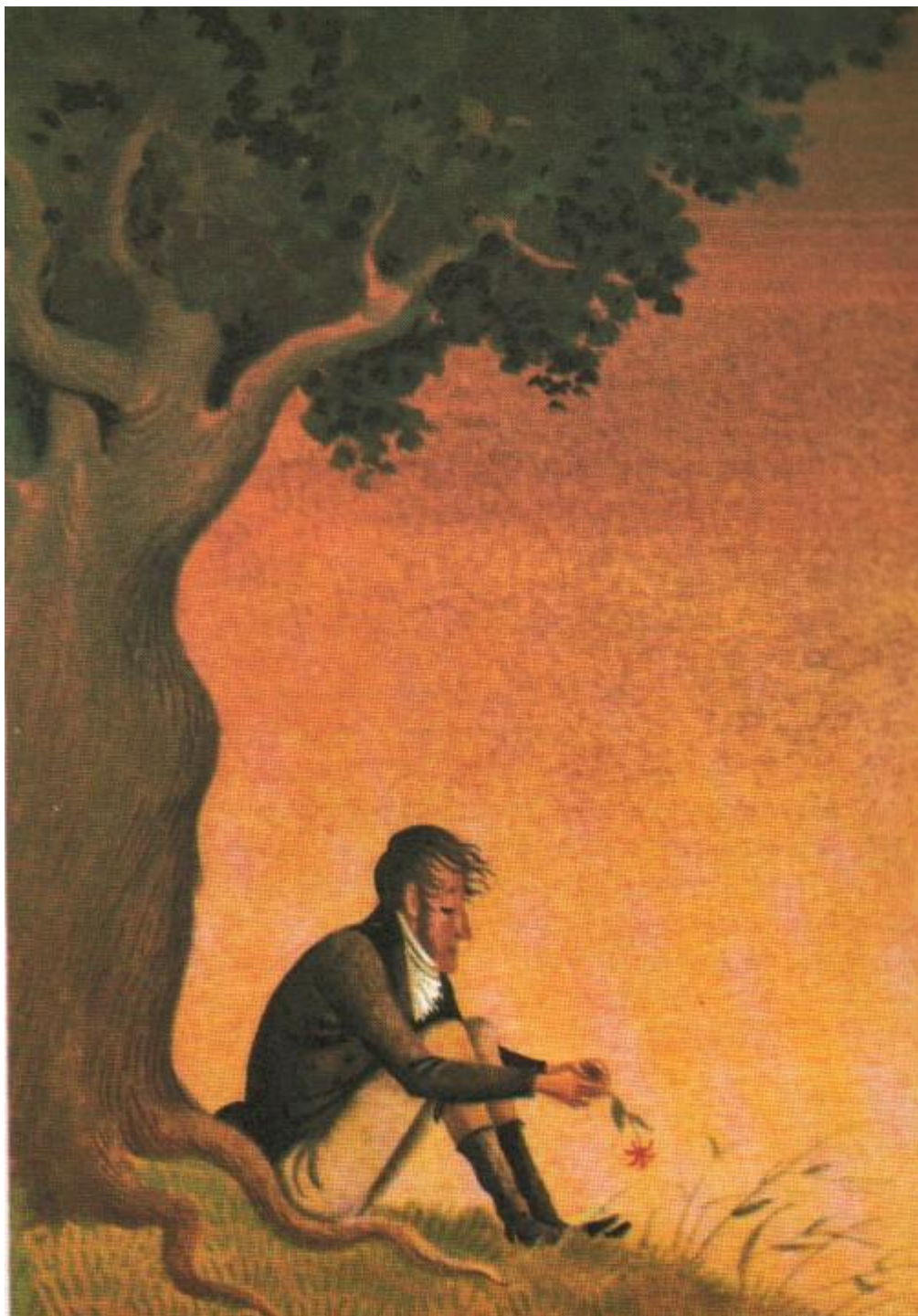
...Добрая фея из жалости дарит маленькому уродцу три волшебных волоска. Благодаря им все значительное и талантливое, произошедшее или произнесенное в присутствии Цахеса, приписывается ему. А вот гадкие поступки самого малыша приписываются окружающим его людям. Цахес делает потрясающую карьеру. Малыша считают гениальнейшим поэтом. Со временем он становится тайным советником, а затем и министром. Страшно подумать каких бы высот мог достичь крошка Цахес, но своевременное вмешательство доброго волшебника кладет конец его химерной карьере. Потеряв три волшебных волоска, Цахес стал тем, кем был на самом деле – жалким подобием человека. Теперь те, кто с наслаждением подчинялся малышу, потешаются над ним. Спасаясь от бывших поклонников, Цахес падает в ночной горшок и трагически погибает.

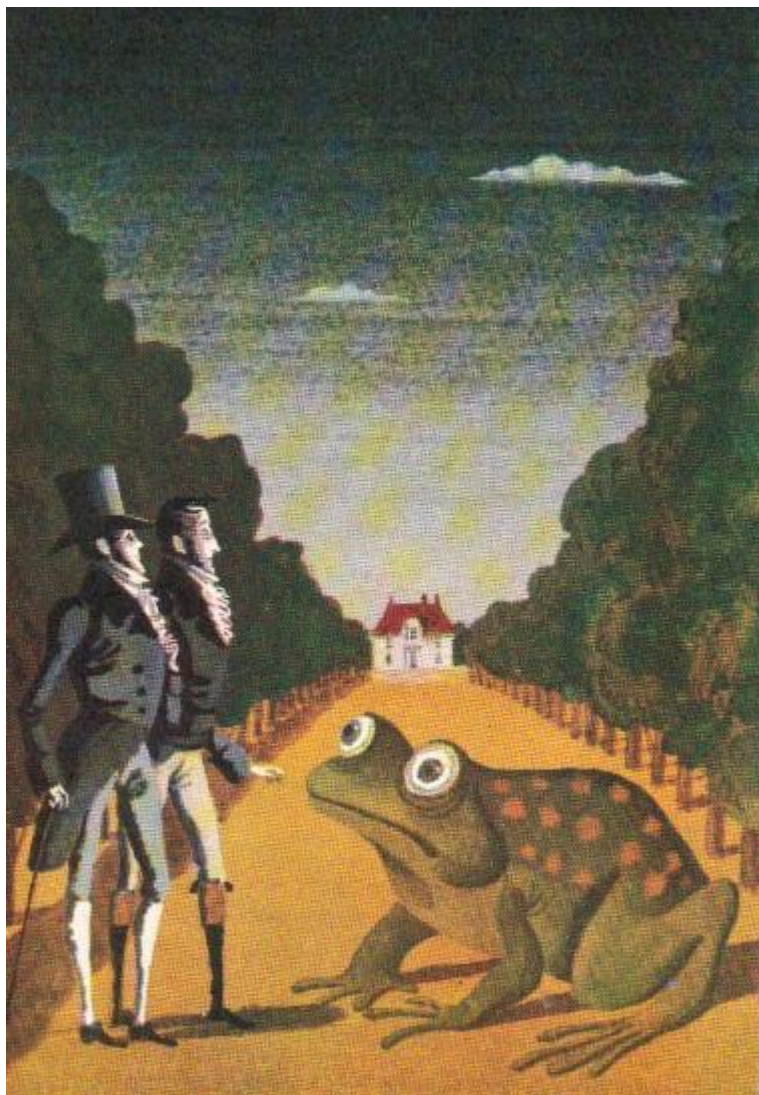
Глава первая

Маленький оборотень. – Великая опасность, грозившая пасторскому носу. – Как князь Пафнутий насаждал в своей стране просвещение, а фея Розабельверде попала в приют для благородных девиц.

Недалеко от приветливой деревушки, у самой дороги, на раскаленной солнечным зноем земле лежала бедная, оборванная крестьянка. Мучимая голодом, томимая жаждой, совсем изнемогшая, несчастная упала под тяжестью корзины, набитой доверху хворостом, который она с трудом насобираала в лесу, и так как она едва могла перевести дух, то и вздумалось ей, что пришла смерть и настал конец ее неутешному горю. Все же вскоре она собралась с силами, распустила веревки, которыми была привязана к ее спине корзина, и медленно перетаскилась на случившуюся вблизи лужайку. Тут принялась она громко сетовать.

– Неужто, – жаловалась она, – неужто только я да бедняга муж мой должны сносить все беды и напасти? Разве не одни мы во всей деревне живем в непрестанной нищете, хотя и трудимся до седьмого пота, а добываем едва-едва, чтоб утолить голод? Года три назад, когда муж, перекапывая сад, нашел в земле золотые монеты, мы и впрямь возомнили, что наконец-то счастье завернуло к нам и пойдут беспечальные дни. А что вышло? Деньги украли воры, дом и овин сгорели дотла, хлеба в поле градом побило, и – дабы мера нашего горя была исполнена – бог наказал нас этим маленьким оборотнем, что родила я на стыд и посмешище всей деревне. Ко дню святого Лаврентия малому минуло два с половиной года, а он все еще не владеет своими паучьими ножонками и, вместо того чтоб говорить, только мурлыкает и мяучит, словно кошка. А жрет окаянный уродец словно восьмилетний здоровяк, да только все это ему впрок нейдет. Боже, смилостивись ты над ним и над нами! Неужто принуждены мы кормить и растить мальчонку себе на муку и нужду еще горшую; день ото дня малыш будет есть и пить все больше, а работать вовек не станет. Нет, нет, снести этого не в силах ни один человек! Ах, когда б мне только умереть! – И тут несчастная принялась плакать и стенать до тех пор, пока горе не одолело ее совсем и она, обессиленная, заснула.





Бедная женщина по справедливости могла плакаться на мерзкого уродца, которого родила два с половиной года назад. То, что с первого взгляда можно было вполне принять за диковинный обрубок корявого дерева, на самом деле был уродливый, не выше двух пядей ростом, ребенок, лежавший поперек корзины, – теперь он выполз из нее и с ворчанием копошился в траве. Голова глубоко ушла в плечи, на месте спины торчал нарост, похожий на тыкву, а сразу от груди шли ножки, тонкие, как прутья орешника, так что весь он напоминал раздвоенную редьку. Незоркий глаз не различил бы лица, но, взглядевшись попристальнее, можно было заметить длинный острый нос, выдававшийся из-под черных спутанных волос, да маленькие черные искрящиеся глазенки, – что вместе с морщинистыми, совсем старческими чертами лица, казалось, обличало маленького альрауна.

И вот когда, как сказано, измученная горем женщина погрузилась в глубокий сон, а сынок ее привалился к ней, случилось, что фрейлейн фон Розеншен – канонисса близлежащего приюта для благородных девиц – возвращалась той дорогой с прогулки. Она остановилась, и представившееся ей бедственное зрелище весьма ее тронуло, ибо она от природы была добра и сострадательна.

– Праведное небо, – воскликнула она, – сколько нужды и горя на этом свете! Бедная, несчастная женщина! Я знаю, она чуть жива, ибо работает свыше сил; голод и забота подкосили ее. Теперь только почувствовала я свою нищету и бессилие! Ах, когда б могла я помочь так, как хотела! Однако все, что у меня осталось, те немногие дары, которые враждебный рок не смог ни похитить, ни разрушить, все, что еще подвластно мне, я хочу твердо и не ложно употребить на то, чтоб отвратить беду. Деньги, будь они у меня, тебе, бедняжка, не помогли бы, а быть может, еще ухудшили бы твою участь. Тебе и твоему мужу, вам обоим, богатство не суждено, а кому оно не суждено, у того золото уплывает из кармана он и сам не знает как. Оно причиняет ему только новые горести, и, чем больше перепадает ему, тем беднее он становится. Но я знаю

– больше, чем всякая нужда, больше, чем всяческая бедность, гложет твое сердце, что ты родила это крошечное чудовище, которое, словно тяжкое зловещее ярмо, принуждена нести всю жизнь. Высоким, красивым, сильным, разумным этот мальчик никогда не станет, по, быть может, ему удастся помочь иным образом.

Тут фрейлейн опустила на траву и взяла малыша на колени. Злой уродец барахтался и упирался, ворчал и норовил укусить фрейлейн за палец, но она сказала:

– Успокойся, успокойся, майский жучок! – и стала тихо и нежно гладить его по голове, проводя ладонью ото лба к затылку. И мало-помалу всклокоченные волосы малыша разгладились, разделились пробором, плотными прядями легли вокруг лба, мягкими локонами упали на торчащие торчком плечи и тыквообразную спину. Малыш становился все спокойнее и наконец крепко уснул. Тогда фрейлейн Розеншен осторожно положила его на траву рядом с матерью, опрыскала ее душистым спиртом из нюхательного флакона и поспешно удалилась.

Пробудившись вскоре, женщина почувствовала, что чудесным образом окрепла и посвежела. Ей казалось, будто она плотно пообедала и пропустила добрый глоток вина.

– Эге, – воскликнула она, – сколько отрады и бодрости принес мне короткий сон. Однако солнце на закате – пора домой! – Тут она собралась взвалить на плечи корзину, но, заглянув в нее, хватилась малыша, который в тот же миг поднялся из травы и жалобно захныкал. Посмотрев на него, мать всплеснула руками от изумления и воскликнула:

– Цахес, крошка Цахес, да кто же это так красиво расчесал тебе волосы? Цахес, крошка Цахес, как пошли бы тебе эти локоны, когда б ты не был таким мерзким уродом! Ну, поди сюда, поди, – лезь в корзину. – Она хотела схватить его и положить на хворост, но крошка Цахес стал отбрыкиваться и весьма внятно промяукал:

– Мне неохота!

– Цахес, крошка Цахес! – не помня себя закричала женщина. – Да кто же это научил тебя говорить? Ну, коли ты так хорошо причесан, так славно говоришь, то уж, верно, можешь и бегать? – Она взвалила на спину корзину, крошка Цахес вцепился в ее передник, и так они пошли в деревню.

Им надо было пройти мимо пасторского дома, и случилось так, что пастор стоял в дверях со своим младшим сыном, пригожим, золотокудым трехлетним мальчуганом. Завидев женщину, тащившуюся с тяжелой корзиной, и крошку Цахеса, повисшего на ее переднике, пастор встретил ее восклицанием:

– Добрый вечер, фрау Лиза! Как поживаете? Уж больно тяжелая у вас ноша, вы ведь едва идете. Присядьте и отдохните на этой вот скамейке, я скажу служанке, чтобы вам подали напиток!

Фрау Лиза не заставила себя упрашивать, опустила корзину наземь и едва раскрыла рот, чтобы пожаловаться почтенному господину на свое горе, как от резкого ее движения крошка Цахес потерял равновесие и упал пастору под ноги. Тот поспешно наклонился, поднял малыша и сказал:

– Ба, фрау Лиза, фрау Лиза, да какой у вас премиленький пригожий мальчик. Поистине это благословение божие, кому ниспослан столь дивный, прекрасный ребенок! – И, взяв малыша на руки, стал ласкать его, казалось, вовсе не замечая, что злонравный карлик прегадко ворчит и мяукает и даже ловчится укусить достопочтенного господина за нос. Но фрау Лиза, совершенно озадаченная, стояла перед священником, тарасила на него застывшие от изумления глаза и не знала, что и подумать.

– Ах, дорогой господин пастор, – наконец завела она плаксивым голосом, – вам, служителю бога, грех насмеяться над бедной, злосчастной женщиной, которую неведомо за что покарала небеса, послав ей этого мерзкого оборотня.

– Что за вздор, – с большой серьезностью возразил священник, – что за вздор несете вы, любезная фрау Лиза! «Насмеяться», «оборотень», «кара небес»! Я совсем не понимаю вас и знаю только, что вы, должно быть, совсем ослепли, ежели не от всего сердца любите вашего прелестного сына! Поцелуй меня, послушный мальчик! – Пастор ласкал малыша, но Цахес ворчал: «Мне неохота!» – и опять норовил ухватить его за нос.

– Вот злая тварь! – вскричала с перепугу фрау Лиза.

Но в тот же миг заговорил сын пастора:

– Ах, милый отец, ты столь добр, столь ласков с детьми, что верно, все они тебя сердечно любят!

– Послушайте только, – воскликнул пастор, засверкав глазами от радости, – послушайте только, фрау Лиза, этого прелестного, разумного мальчика, вашего милого Цахеса, что так нелюб вам. Я уже замечаю, что вы никогда не будете им довольны, как бы ни был он умен и красив. Вот что, фрау Лиза, отдайте-ка мне вашего многообещающего малыша на попечение и воспитание. При вашей тяжкой бедности он для вас только обуза, а мне будет в радость воспитать его, как своего родного сына!

Фрау Лиза никак не могла прийти в себя от изумления и все восклицала:

– Ах, дорогой господин пастор, неужто вы и впрямь не шутите и хотите взять к себе маленького уродя, воспитать его и избавить меня от всех горестей, что доставил мне этот оборотень!

Но чем больше расписывала фрау Лиза отвратительное безобразие своего альрауна, тем с большей горячностью уверял ее пастор, что она в безумном своем ослеплении не заслужила столь драгоценного дара, благословения небес, ниспославших ей дивного мальчика, и наконец, распалившись гневом, с крошкой Цахесом на руках вбежал в дом и запер за собой дверь на засов.

Словно окаменев, стояла фрау Лиза перед дверьми пасторского дома и не знала, что ей обо всем этом и думать. «Что же это, господи, – рассуждала она сама с собой, – стряслось с нашим почтенным пастором, с чего это ему так сильно полюбился крошка Цахес и он принимает этого глупого карапуза за красивого и разумного мальчика? Ну, да поможет бог доброму господину, он снял бремя с моих плеч и взвалил его на себя, пусть поглядит, каково-то его нести! Эге, как легка стала корзина, с тех пор как не сидит в ней крошка Цахес, а с ним – и тяжкая забота!»

И тут фрау Лиза, взвалив корзину на спину, весело и беспечально пошла своим путем.

Что же касается канониссы фон Розеншен или, как она еще называла себя, Розенгрюншен, то ты, благосклонный читатель, – когда бы и вздумалось мне еще до поры до времени помолчать, – все же бы догадался, что тут было сокрыто какое-то особое обстоятельство. Ибо то, что добросердечный пастор почел крошку Цахеса красивым и умным и принял, как родного сына, объясняется не чем иным, как таинственным воздействием ее рук, погладивших малыша по голове и расчесавших ему волосы. Однако, любезный читатель, невзирая на твою глубочайшую прозорливость, ты все же можешь впасть в заблуждение или, к великому ущербу для нашего повествования, перескочить через множество страниц, чтобы поскорее разузнать об этой таинственной канониссе; поэтому уж лучше я сам без промедления расскажу тебе все, что знаю сам об этой достойной даме.

Фрейлейн фон Розеншен была высокого роста, наделена благородной, величественной осанкой и несколько горделивой властью. Ее лицо, хотя его и можно было назвать совершенно прекрасным, особенно когда она, по своему обыкновению, устремляла вперед строгий, неподвижный взор, все же производило какое-то странное, почти зловещее впечатление, что следовало прежде всего приписать необычной странной складке между бровей, относительно чего толком не известно, дозволительно ли канониссам носить на челе нечто подобное; но притом часто в ее взоре, преимущественно в ту пору, когда цветут розы и стоит ясная погода, светилась такая приветливость и благоволение, что каждый чувствовал себя во власти сладостного, непреодолимого очарования. Когда я в первый и последний раз имел удовольствие видеть эту даму, то она, судя по внешности, была в совершеннейшем расцвете лет и достигла зенита, и я полагал, что на мою долю выпало великое счастье увидеть ее как раз на этой поворотной точке и даже некоторым образом утешиться ее дивной красотой, которая очень скоро могла исчезнуть. Я был в заблуждении. Деревенские старожилы уверяли, что они знают эту благородную госпожу с тех пор, как помнят себя, и что она никогда не меняла своего облика, не была ни старше, ни моложе, ни дурнее, ни красивее, чем теперь. По-видимому, время не имело над ней власти, и уже одно это могло показаться удивительным. Но тут добавлялись и различные иные обстоятельства, которые всякого, по зрелому размышлению, повергали в такое замешательство, что под конец он совершенно терялся в догадках. Во-первых, весьма явственно обнаруживалось родство фрейлейн Розеншен с цветами, имя коих

она носила. Ибо не только во всем свете не было человека, который умел бы, подобно ей, выращивать столь великолепные тысячелепестковые розы, но стоило ей воткнуть в землю какой-нибудь иссохший, колючий прутик, как на нем пышно и в изобилии начинали произрастать эти цветы. К тому же было доподлинно известно, что во время уединенных прогулок в лесу фрейлейн громко беседует с какими-то чудесными голосами, верно исходившими из деревьев, кустов, родников и ручьев. И однажды некий молодой стрелок даже подсмотрел, как она стояла в лесной чаще, а вокруг нее порхали и ласкались к ней редкостные, не виданные в этой стране птицы с пестрыми, сверкающими перьями и, казалось, весело щебеча и распевая, поведывали ей различные забавные истории, отчего она радостно смеялась. Все это привлекло к себе внимание окрестных жителей вскоре же после того, как фрейлейн фон Розеншен поступила в приют для благородных девиц. Ее приняли туда по повелению князя; а посему барон Претекстатус фон Мондшейн, владелец поместья, по соседству с коим находился приют и где он был попечителем, против этого ничего не мог возразить, несмотря на то что его обуревали ужаснейшие сомнения. Напрасны были его усердные поиски фамилии Розенгрюншен в «Книге турниров» Рикснера и в других хрониках. На этом основании он справедливо мог усомниться в правах на поступление в приют девицы, которая не могла представить родословной в тридцать два предка, и наконец, совсем сокрушенный, со слезами на глазах просил ее, заклиная небом, по крайности, называть себя не Розенгрюншен, а Розеншен, ибо в этом имени заключен хоть некоторый смысл и тут можно сыскать хоть какого-нибудь предка. Она согласилась ему в угоду. Быть может, разобиженный Претекстатус так или иначе обнаружил свою досаду на девицу без предков и подал тем повод к злым толкам, которые все больше и больше разносились по деревне. К тем волшебным разговорам в лесу, от коих, впрочем, не было особой беды, прибавились различные подозрительные обстоятельства; молва о них шла из уст в уста и представляла истинное существо фрейлейн в свете весьма двусмысленном. Тетушка Анна, жена старосты, не обинуясь, уверяла, что всякий раз, когда фрейлейн, высунувшись из окошка, крепко чихнет, по всей деревне скисает молоко. Едва это подтвердилось, как стряслось самое ужасное. Михель, учительский сын, лакомился на приютской кухне жареным картофелем и был застигнут фрейлейн, которая, улыбаясь, погрозила ему пальцем. Рот у паренька так и остался разинутым, словно в нем застряла горячая жареная картофелина, и с той поры он принужден был носить широкополую шляпу, а то дождь лил бы бедняге прямо в глотку. Вскоре почти все убедились, что фрейлейн умеет заговаривать огонь и воду, вызывать бурю и град, насыпать колтун и тому подобное, и никто не сомневался в рассказях пастуха, будто он в полночь с ужасом и трепетом видел, как фрейлейн носилась по воздуху на помеле, а впереди ее летел преогромный жук, и синее пламя полыхало меж его рогов!

И вот все пришло в волнение, все ополчились на ведьму, а деревенский суд порешил ни много ни мало, как выманить фрейлейн из приюта и бросить в воду, дабы она прошла положенное для ведьмы испытание. Барон Претекстатус не восставал против этого и, улыбаясь, говорил про себя: «Так-то вот и бывает с простыми людьми, без предков, которые не столь древнего и знатного происхождения, как Мондшейн». Фрейлейн, извещенная о грозящей опасности, бежала в княжескую резиденцию, вскоре после чего барон Претекстатус получил от владетельного князя кабинетский указ, посредством коего до сведения барона доводилось, что ведьм не бывает, и повелевалось за дерзостное любопытство зреть, сколь искусны в плавании благородные приютские девицы, деревенских судей заточить в башню, остальным же крестьянам, а также их женам, под страхом чувствительного телесного наказания, объявить, чтобы они не смели думать о фрейлейн Розеншен ничего дурного. Они образумились, утрастились грозящего наказания и впредь стали думать о фрейлейн только хорошее, что возымело благотворнейшие последствия для обеих сторон – как для деревни, так и для фрейлейн Розеншен.

Кабинету князя доподлинно было известно, что девица фон Розеншен не кто иная, как знаменитая, прославленная на весь свет фея Розабельверде. Дело обстояло следующим образом.

Едва ли на всей земле можно сыскать страну прелестнее того маленького княжества, где находилось поместье барона Претекстатуса фон Мондшейн и где обитала фрейлейн фон Розеншен, – одним словом, где случилось все то, о чем я, любезный читатель, как раз

собираюсь рассказать тебе более пространно.

Окруженная горными хребтами, эта маленькая страна, с ее зелеными, благоухающими рощами, цветущими лугами, шумливыми потоками и весело журчащими родниками, уподоблялась – а особенно потому, что в ней вовсе не было городов, а лишь приветливые деревеньки да кое-где одинокие замки, – дивному, прекрасному саду, обитатели коего словно прогуливались в нем для собственной утехы, не ведая о тягостном бремени жизни. Всякий знал, что страной этой правит князь Деметрий, однако никто не замечал, что она управляема, и все были этим весьма довольны. Лица, любящие полную свободу во всех своих начинаниях, красивую местность и мягкий климат, не могли бы избрать себе лучшего жительства, чем в этом княжестве, и потому случилось, что, в числе других, там поселились и прекрасные феи доброго племени, которые, как известно, выше всего ставят тепло и свободу. Их присутствию и можно было приписать, что почти в каждой деревне, а особенно в лесах, частенько совершались приятнейшие чудеса и что всякий плененный восторгом и блаженством вполне уверовал во все чудесное и, сам того не ведая, как раз по этой причине был веселым, а следовательно, и хорошим гражданином. Добрые феи, живя по своей воле, расположились совсем как в Джиннистане и охотно даровали бы превосходному Деметрию вечную жизнь. Но это не было в их власти. Деметрий умер, и ему наследовал юный Пафнутий.

Еще при жизни своего царственного родителя Пафнутий был втайне снедаем скорбью, оттого что, по его мнению, страна и народ были оставлены в столь ужасном небрежении. Он решил править и тотчас по вступлении на престол поставил первым министром государства своего камердинера Андреса, который, когда Пафнутий однажды забыл кошелек на постоялом дворе за горами, одолжил ему шесть дукатов и тем выручил из большой беды. «Я хочу править, любезный!» – крикнул ему Пафнутий. Андрес прочел во взоре своего повелителя, что творилось у него на душе, припал к его стопам и со всей торжественностью произнес:

– Государь, пробил великий час! Вашим промыслом в сиянии утра встает царство из ночного хаоса! Государь, вас молит верный вассал, тысячи голосов бедного злосчастного народа заключены в его груди и горле! Государь, введите просвещение!

Пафнутий почувствовал немалое потрясение от возвышенных мыслей своего министра. Он поднял его, стремительно прижал к груди и, рыдая, молвил:

– Министр Андрес, я обязан тебе шестью дукатами, – более того – моим счастьем, моим государством, о верный, разумный слуга!

Пафнутий вознамерился тотчас распорядиться отпечатать большими буквами и прибить на всех перекрестках эдикт, гласящий, что с сего часа введено просвещение и каждому вменяется впредь с тем сообразовываться.

– Преславный государь, – воскликнул меж тем Андрес, – преславный государь, так дело не делается!

– А как же оно делается, любезный? – спросил Пафнутий, ухватил министра за петлицу и повлек его в кабинет, замкнув за собою двери.

– Видите ли, – начал Андрес, усевшись на маленьком табурете насупротив своего князя, – видите ли, всемилостивый господин, действие вашего княжеского эдикта о просвещении наисквернейшим образом может расстроиться, когда мы не соединим его с некими мерами, кои, хотя и кажутся суровыми, однако ж повелеваемы благоразумием. Прежде чем мы приступим к просвещению, то есть прикажем вырубить леса, сделать реку судоходной, развести картофель, улучшить сельские школы, насадить акации и тополя, научить юношество распевать на два голоса утренние и вечерние молитвы, проложить шоссейные дороги и привить оспу, – прежде надлежит изгнать из государства всех людей опасного образа мыслей, кои глухи к голосу разума и совращают народ на различные дурачества. Преславный князь, вы читали «Тысяча и одну ночь», ибо, я знаю, ваш светлейший, блаженной памяти господин папаша – да ниспошлет ему небо нерушимый сон в могиле! – любил подобные гибельные книги и давал их вам в руки, когда вы еще скакали верхом на палочке и поедали золоченые пряники. Ну вот, из этой совершенно конфузной книги вы, всемилостивейший господин, должно быть, знаете про так называемых фей, однако вы, верно, и не догадываетесь, что некоторые из числа сих опасных особ поселились в вашей собственной любезной стране, здесь, близехонько от вашего дворца, и творят всяческие бесчинства.

– Как? Что ты сказал, Андрес? Министр! Феи – здесь, в моей стране! – восклицал князь, побледнев и откинувшись на спинку кресла.

– Мы можем быть спокойны, мой милостивый повелитель, – продолжал Андрес, – мы можем быть спокойны, ежели вооружимся разумом против этих врагов просвещения. Да! Врагами просвещения называю я их, ибо только они, злоупотребив добротой вашего блаженной памяти господина папаша, повинны в том, что любезное отечество еще пребывает в совершенной тьме. Они упражняются в опасном ремесле – чудесах – и не страшатся под именем поэзии разносить вредный яд, который делает людей неспособными к службе на благо просвещения. Далее, у них столь несносные, противные полицейскому уставу обыкновения, что уже в силу одного этого они не могут быть терпимы ни в одном просвещенном государстве. Так, например, эти дерзкие твари осмеливаются, буде им это вздумается, совершать прогулки по воздуху, а в упряжке у них голуби, лебеди и даже крылатые кони. Ну вот, милостивейший повелитель, я и спрашиваю, стоит ли труда придумывать и вводить разумные акцизные сборы, когда в государстве существуют лица, которые в состоянии всякому легкомысленному гражданину сбросить в дымовую трубу сколько угодно беспощливых товаров? А посему, милостивейший повелитель, как только будет провозглашено просвещение, – всех фей гнать! Их дворцы оцепит полиция, у них конфискуют все опасное имущество и, как бродяг, спровадят на родину, в маленькую страну Джиннистан, которая вам, милостивейший повелитель, вероятно, знакома по «Тысяча и одной ночи».

– А ходит туда почта, Андрес? – справился князь.

– Пока что нет, – отвечал Андрес, – но, может статься, после введения просвещения полезно будет учредить каждодневную почту и в эту страну.

– Однако, Андрес, – продолжал князь, – не почтут ли меры, принятые нами против фей, жестокими? Не возропщет ли полоненный ими народ?

– И на сей случай, – сказал Андрес, – и на сей случай располагаю я средством. Мы, милостивейший повелитель, не всех фей спровадим в Джиннистан, некоторых оставим в нашей стране, однако ж не только лишим их всякой возможности вредить просвещению, но и употребим все нужные для того средства, чтобы превратить их в полезных граждан просвещенного государства. Не пожелают они вступить в благонадежный брак, – пусть под строгим присмотром упражняются в каком-нибудь полезном ремесле, вяжут чулки для армии, если случится война, или делают что-нибудь другое. Примите во внимание, милостивейший повелитель, что люди, когда среди них будут жить феи, весьма скоро перестанут в них верить, а это ведь лучше всего. И всякий ропот смолкнет сам собой. А что до утвари, принадлежащей феям, то она поступит в княжескую казну; голуби и лебеди как превосходное жаркое пойдут на княжескую кухню; крылатых коней также можно для опыта приручить и сделать полезными тварями, обрезав им крылья и давая им корм в стойлах; а кормление в стойлах мы введем вместе с просвещением.

Пафнутий остался несказанно доволен предложениями своего министра, и уже на другой день было выполнено все, о чем они порешили.

На всех углах красовался эдикт о введении просвещения, и в то же время полиция вламывалась во дворцы фей, накладывала арест на все имущество и уводила их под конвоем.

Только небу ведомо, как случилось, что фея Розабельверде, за несколько часов до того как разразилось просвещение, одна из всех обо всем узнала и успела выпустить на свободу своих лебедей и припрятать свои магические розовые кусты и другие драгоценности. Она также знала, что ее решено было оставить в стране, чему она, хотя и против воли, повиновалась.

Меж тем ни Пафнутий, ни Андрес не могли постичь, почему феи, коих транспортировали в Джиннистан, выражали столь чрезмерную радость и непрестанно уверяли, что они нимало не печалются обо всем том имуществе, которое они принуждены оставить.

– В конце концов, – сказал, прогневавшись, Пафнутий, – в конце концов выходит, что Джиннистан более привлекательная страна, чем мое княжество, и они подымут меня на смех вместе с моим эдиктом и моим просвещением, которое теперь только и должно расцвести.

Придворный географ вместе с историком должны были представить обстоятельные сообщения об этой стране.

Они оба согласились на том, что Джиннистан – прежалкая страна, без культуры,

просвещения, учености, акаций и прививки оспы, и даже, по правде говоря, вовсе не существует. А ведь ни для человека, ни для целой страны не может приключиться ничего худшего, как не существовать вовсе.

Пафнутий почувствовал себя успокоенным.

Когда прекрасная цветущая роща, где стоял покинутый дворец феи Розабельверде, была вырублена и в близлежащей деревне Пафнутий, дабы подать пример, самолично привил всем крестьянским увальням оспу, фея подстерегла князя в лесу, через который он вместе с министром Андресом возвращался в свой замок. Тут она искусными речами, в особенности же некоторыми зловещими кунштюками, которые она утаила от полиции, загнала князя в тупик, так что он, заклиная небом, молил ее довольствоваться местом в единственном, а следовательно, и самом лучшем по всем государстве приюте для благородных девиц, где она, невзирая на эдикт о просвещении, могла хозяйничать и управлять по своему усмотрению.

Фея Розабельверде приняла предложение и, таким образом, попала в приют для благородных девиц, где она, как о том уже было сказано, назвалась фрейлейн фон Розенгрюншен, а потом, по неотступной просьбе барона Претекстатуса фон Мондшейна, фрейлейн фон Розеншен.

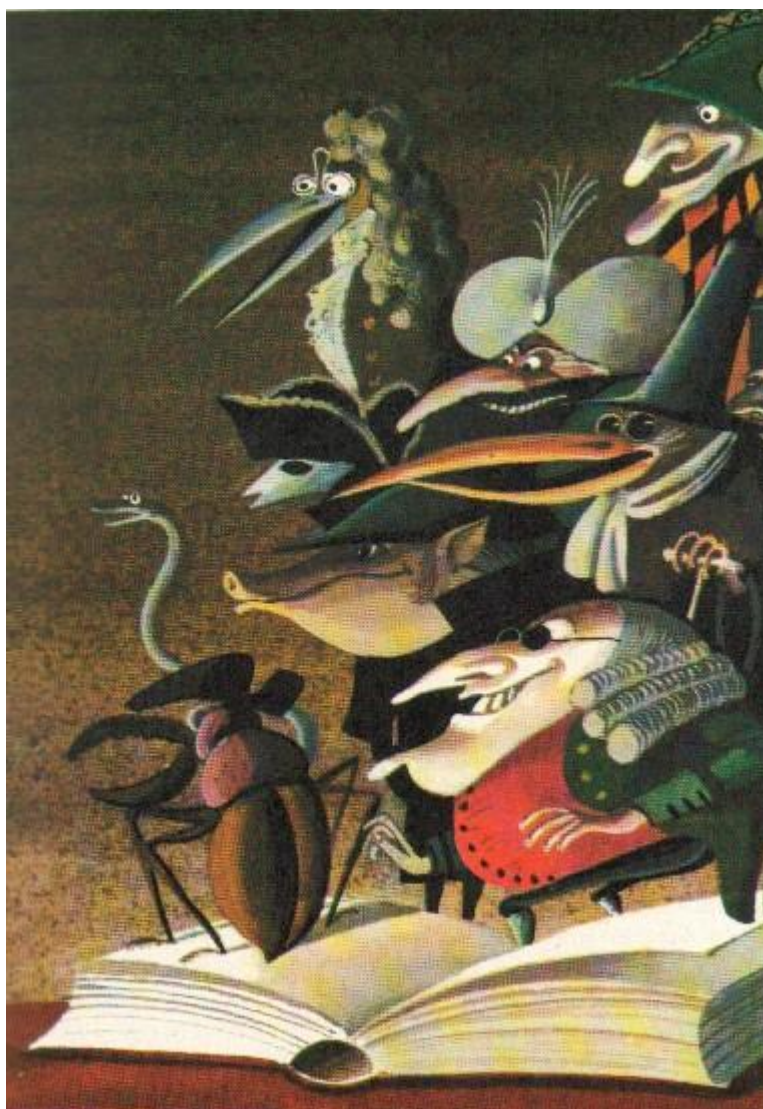
Глава вторая

О неизвестном народе, что открыл ученый Птоломей Филадельфус во время своего путешествия. – Университет в Керепесе. – Как в голову студента Фабиана полетели ботфорты и как профессор Мош Терпин пригласил студента Бальтазара на чашку чая.

В приятельских письмах, которые прославленный ученый Птоломей Филадельфус, будучи в далеком путешествии, писал другу своему Руфину, находится следующее замечательное место:

«Ты знаешь, любезный Руфин, что я ничего на свете так не боюсь и не избегаю, как палящих лучей солнца, кои скупают все силы моего тела и столь ослабляют и утомляют дух мой, что все мои мысли сливаются в некий смутный образ, и я напрасно тщуся уловить умственным взором что-либо отчетливое. Оттого я имею обыкновение в эту жаркую пору отдыхать днем, а ночью продолжаю свое странствование. Так и прошедшей ночью я был в пути. В непроглядной тьме мой возница сбился с настоящей удобной дороги и нечаянно выехал на шоссе. Несмотря на то что жестокие толчки бросали меня из стороны в сторону и покрытая шишками голова моя была весьма схожа с мешком грецких орехов, я пробудился от глубокого сна не раньше, чем когда ужасный толчок выбросил меня из кареты на жесткую землю. Солнце ярко светило мне в лицо, а за шлагбаумом, что был прямо передо мною, я увидел высокие башни большого города. Возница горько сетовал, что о большой камень, лежавший посреди дороги, разбилось не только дышло, но и заднее колесо кареты, и, казалось, весьма мало, а то и вовсе не печалился обо мне. Я, как и подобает мудрецу, сдержал свой гнев и лишь с кротостью крикнул парню, что он, проклятый бездельник, мог бы взять в толк, что Птоломей Филадельфус, прославленнейший ученый своего времени, сидит на задн... и оставить дышло дышлом, а колесо колесом. Тебе, любезный Руфин, известно, какой властью над человеческими сердцами я обладаю. И вот возница во мгновение ока перестал сетовать и с помощью шоссейного сборщика, перед домиком которого стряслась беда, поставил меня на ноги. По счастью, я нигде особенно не зашибся и был в силах тихонечко побрести дальше, меж тем как возница с трудом тащил за мной поломанную карету. Неподалеку от ворот завиденного мною в синюющей дали города мне повстречалось множество людей столь диковинного обличья и в столь странных одеждах, что я принялся тереть глаза, дабы удостовериться, впрямь ли я бодрствую, или, быть может, сумбурный дразнящий сон перенес меня в неведомую сказочную страну. Эти люди, коих я по праву мог считать жителями города, из ворот которого они выходили, носили длинные, широченные штаны, на манер японских, из драгоценнейших тканей – бархата, Манчестера, тонкого сукна, а то и холста, пестро расшитого галунами, красивыми лентами и шнурками, и куцые, едва прикрывающие живот детские курточки, по большей части

светлых тонов; только немногие были в черном. Нечесанные волосы в естественном беспорядке спадали на плечи и спину, а на голове у каждого была нахлобучена маленькая странного вида шапочка. У иных шеи были совершенно открыты, как у турок и нынешних греков, другие, напротив, носили вокруг шеи и на груди куски белого полотна, довольно схожие с теми воротниками, что тебе, любезный Руфин, доводилось видеть на портретах наших предков. Несмотря на то что все эти люди казались весьма молодыми, голоса у них были низкие и грубые, движения отличались неловкостью; у некоторых под самым носом лежала узкая тень, словно бы от усов. У иных сзади из курточек торчали длинные трубки, на которых болтались большие шелковые кисти. Другие же повытаскивали трубки из карманов и приладили к ним снизу маленькие, средние, а то и весьма большие диковинной формы головки и с немалой ловкостью, поддувая сверху в тоненькую, все более сужающуюся на конце трубку, пускали искусные клубы дыма. Некоторые держали в руках широкие сверкающие мечи, словно шли навстречу неприятелю; у иных были пристегнуты пряжками к спине или навешаны по бокам маленькие кожаные и жестяные коробочки.





Вообрази себе, любезный Руфин, как я, стремясь обогатить свои познания прилежным наблюдением всякого нового для меня феномена, остановился и вперил взор свой в этих странных людей. Тут они окружили меня, крича во все горло: «Филистер, филистер!» – и разразились ужаснейшим смехом. Это меня раздосадовало. Ибо, дражайший Руфин, может ли быть для великого ученого что-либо обиднее, чем сопричисление к народу, который за несколько тысяч лет перед тем был побит ослиной челюстью? Я взял себя в руки и с присущим мне достоинством громко объявил собравшемуся вокруг меня странному люду, что я, следует надеяться, нахожусь в цивилизованном государстве и потому обращусь в полицию и в суд, дабы отплатить за нанесенную мне обиду. Тут все они подняли рев; к тому же и те, что доселе еще не дымили, повытаскивали из карманов назначенные для того машины, и все принялись пускать мне в лицо густые клубы дыма, который, как я только теперь заметил, вонял совсем невыносимо и оглушал мои чувства. Затем они изрекли надо мной своего рода проклятие, столь мерзкое, что я, любезный Руфин, не хочу его тебе повторять. Я и сам вспоминаю о нем с невыразимым ужасом. Наконец они покинули меня с громким оскорбительным смехом, и мне почудилось, будто в воздухе замирает слово: «Арапник!» Возница мой, все слышавший и видевший, сказал, ломая руки:

– Ах, дорогой господин, коли уж произошло то, что случилось, то, бога ради, не входите в этот город. С вами, как говорится, ни одна собака знаться не будет, и вы будете в беспрестанной опасности подвергнуться побо...

Я не дал честному малому договорить и с возможной поспешностью обратил стопы свои к ближайшей деревне. В одинокой комнатушке единственного во всей деревеньке постоялого двора сажу и пишу все это тебе, дражайший Руфин! Насколько будет возможно, я соберу известия об этом неведомом варварском народе, населяющем здешний город. Мне уже

порассказали кое-что весьма странное о его нравах, обычаях, языке и прочем, и я в точности сообщу тебе обо всем... и т. д. и т. д.».

О мой любезный читатель, ты уже заметил, что можно быть великим ученым и не знать обыкновеннейших явлений и по поводу всему свету известных вещей предаваться диковинным мечтаниям. Птоломей Филадельфус упражнялся в науках и даже не знал о студентах, описывая своему другу происшествие, которое в голове его превратилось в редкостное приключение, он даже не знал, что находится в деревне Хох-Якобсхейм, расположенной, как известно, неподалеку от прославленного Керепесского университета. Добряк Птоломей перепугался, повстречавшись со студентами, которые радостно и беспечально прогуливались для собственного удовольствия за городом. Какой бы страх обуял его, когда бы он часом раньше прибыл в Керепес и случай привел бы его к дому профессора естественных наук Моша Терпина. Сотни студентов, хлынув из дома, окружили бы его, шумно диспутируя, и от этого волнения, от этой суеты его ум смутили бы еще более диковинные мечтания.

Лекции Моша Терпина посещались в Керепесе чаще всего. Он был, как о том уже сказано, профессором естественных наук: он объяснял, отчего происходят дождь, гром, молния, отчего солнце светит днем, а месяц ночью, как и отчего растет трава и прочее, да так, что всякое дитя могло бы это уразуметь. Он заключил всю природу в маленький изящный компендиум, так что всегда мог с удобством ею пользоваться и на всякий вопрос извлечь ответ, как из выдвижного ящика. Начало его славе положило удачно выведенное им после многочисленных физических опытов заключение, что темнота происходит преимущественно от недостатка света. Это открытие, равно как и его умение с немалой ловкостью обращать помянутые физические опыты в очаровательные кунштюки и показывать весьма занимательные фокусы, доставило ему невероятное множество слушателей. Дозволь мне, благосклонный читатель, ибо ты знаешь студентов много лучше, чем прославленный ученый Птоломей Филадельфус, и тебе незнакома его сумасбродная боязливость, свести тебя в Керепес к дому профессора Моша Терпина как раз в то время, когда он окончил лекцию. Один из вышедших студентов тотчас же пленяет твое внимание. Ты видишь стройного юношу лет двадцати трех или четырех; темные сверкающие глаза его красноречиво говорят о живом и ясном уме. Почти дерзким можно было бы назвать его взгляд, если бы мечтательная грусть, разлитая на бледном лице, не застилала, словно дымкой, жгучих лучей его глаз. Его сюртук черного тонкого сукна, отделанный разрезным бархатом, был сшит почти что на старонемецкий лад, к чему весьма шел нарядный, ослепительно-белый кружевной воротник и бархатный берет, покрывавший его красивые темно-каштановые волосы.

Это одеяние потому так шло к нему, что он сам всем существом своим, пристойной поступью и осанкой, серьезным выражением лица, казалось, действительно принадлежал к прекрасному благочестивому стародавнему времени, а поэтому и не наводил на мысль о жеманстве, которое столь часто выказывает себя в мелочном подражании худо понятым образцам в столь же худо понятых притязаниях нашего времени. Этот молодой человек, который с первого взгляда так полюбился тебе, дорогой читатель, не кто иной, как студент Бальтазар, сын достойных и зажиточных родителей, юноша скромный, рассудительный, прилежный, о ком я, мой читатель, намереваюсь немало порассказать тебе в этой весьма примечательной истории.

Серьезен, по своему обыкновению, погружен в думы, шел Бальтазар с лекции Моша Терпина к городским воротам, собираясь вместо фехтовальной залы посетить прелестную рощицу, находящуюся в нескольких сотнях шагов от Керепеса. Друг его Фабиан, красивый малый, веселый с виду и такой же нравом, побежал за ним следом и настиг у самых ворот.

– Бальтазар! – громко закричал Фабиан. – Бальтазар, опять ты собрался в лес бродить в одиночестве, подобно меланхолическому филистеру, меж тем как добрые бурши прилежно упражняются в благородном искусстве фехтования. Прошу тебя, оставь свои нелепые дурачества, от которых нас всех берет оторопь, и будь по-прежнему бодр и весел. Пойдем переведаемся на рапирах, а если тебя потом потянет прогуляться, так я охотно пойду с тобой.

– Побуждения у тебя добрые, – возразил Бальтазар, – и потому я не хочу вступать с тобой в перепалку из-за того, что ты, словно одержимый, гоняешься за мной по пятам и часто лишаешь меня наслаждений, о которых не имеешь никакого понятия. Ты как раз принадлежишь

к тем странным людям, которые всякого, кто любит бродить в одиночестве, считают меланхоличным дурнем и хотят на свой лад его образумить и вылечить, подобно тому лукавому царедворцу, что пытался исцелить достойного принца Гамлета, а принц хорошенько проучил его, когда тот объявил, что не умеет играть на флейте. Правда, от этого, любезный Фабиан, я тебя избавлю, однако ж я тебя сердечно прошу – поищи себе другого товарища для благородных упражнений на рапирах и эспадронах и оставь меня в покое.

– Нет, нет! – воскликнул со смехом Фабиан. – Так просто ты от меня не отделаешься, дорогой друг! Не хочешь пойти со мной в фехтовальную залу, так я отправлюсь с тобой в рошу. Долг верного друга – развеселить тебя в печали. Ну, идем, любезный Бальтазар, идем, коли уж ты ничего другого не желаешь. – Сказав это и подхватив друга под руку, он бодро зашагал с ним рядом. Бальтазар стиснул зубы, затаив досаду, и затворился в угрюмом молчании, тогда как Фабиан без умолку рассказывал всевозможные веселые истории. Сюда замешался и всякий вздор, как то частенько случается, коли без умолку рассказывают что-нибудь веселое.

Когда наконец они вступили в прохладную сень благоухающей роши, когда зашептали кусты, словно обмениваясь нетерпеливыми вздохами, когда вдалеке зазвучали чудесные мелодии журчащих ручьев и пение лесных птиц пробудило эхо в горах, – Бальтазар внезапно остановился, широко распростер руки, словно собирался нежно обнять кусты и деревья, и воскликнул:

– О, теперь мне снова хорошо, несказанно хорошо!

Фабиан с некоторым замешательством поглядел на своего друга, словно человек, который не понял, о чем идет речь, и не знает, как ему поступить. Тут Бальтазар схватил его за руку и воскликнул, полон восторга:

– Не правда ли, брат, и твое сердце раскрылось и ты постигаешь блаженную тайну лесного уединения?

– Я не совсем понимаю тебя, любезный брат, – отвечал Фабиан, – но ежели ты полагаешь, что прогулка в лесу оказывает на тебя благотворное действие, то я с таким мнением совершенно согласен. Разве я сам не охотник до прогулок, особливо в доброй компании, когда можно вести разумную и поучительную беседу? К примеру, истинное удовольствие гулять за городом с нашим профессором Мошем Терпином. Он знает каждое растеньице, каждую былинку и скажет, как она называется и к какому виду принадлежит, и притом он рассуждает о ветре и о погоде...

– Остановись, – вскричал Бальтазар, – прошу тебя, остановись! Ты упомянул о том, что могло бы привести меня в бешенство, если бы у меня не было некоторого утешения. Манера профессора рассуждать о природе разрывает мне сердце. Или, лучше сказать, меня охватывает злоеший ужас, словно я вижу умалишенного, который в шутовском безумии мнит себя королем и повелителем и ласкает сделанную им же самим соломенную куклу, воображая, что обнимает свою царственную невесту. Его так называемые опыты представляются мне отвратительным глумлением над божественным существом, дыхание которого обвевает нас в природе, возбуждая в сокровенной глубине нашей души священные предчувствия. Нередко меня берет охота переколотить его склянки и колбы, разнести всю его лавочку, когда б меня не удерживала мысль, что обезьяна все равно не отстанет от игры с огнем, пока не обожжет себе лапы. Вот, Фабиан, какие чувства тревожат меня, отчего сжимается мое сердце на лекциях Моша Терпина, – и тогда вам кажется, что я стал еще более задумчив и нелюдим. Мне словно чудится, что дома готовы обрушиться на мою голову, неопикуемый страх гонит меня из города. Но здесь, здесь мою душу посещает сладостный покой. Лежа на траве, усеянной цветами, я всматриваюсь в беспредельную синеву неба, и надо мной, над ликующим лесом тянутся золотые облака, словно чудесные сны из далекого мира, полного блаженной отрады! О Фабиан, тогда и в собственной моей груди рождается какой-то дивный гений, я внимаю, как он ведет таинственные речи с кустами, деревьями, струями лесного ручья, и я не в силах передать тебе, какое блаженство наполняет все мое существо сладостно-тоскливым трепетом.

– Ну вот, – воскликнул Фабиан, – ну вот опять ты завел старую песню о тоске и блаженстве, говорящих деревьях и лесных ручьях. Все твои стихи изобилуют этими приятными предметами, что весьма сносны для слуха и могут быть употреблены с пользой, если не искать тут чего-нибудь большего. Но скажи мне, мой превосходный меланхолик, ежели лекции

Моша Терпина столь ужасно оскорбляют тебя и сердят, то скажи мне, чего ради ты на них таскаешься, ни одной не пропустишь, хотя, правда, всякий раз сидишь безмолвный и оцепеневший и, закрыв глаза, словно гредишь?

– Не спрашивай, – отвечал Бальтазар, потупив очи, – не спрашивай меня об этом, любезный друг. Неведомая сила влечет меня каждое утро к дому Моша Терпина. Я наперед знаю свои муки и все же не в силах противиться. Темный рок гонит меня!

– Ха-ха! – громко рассмеялся Фабиан, – ха-ха-ха! Как тонко, как поэтично, какая мистика! Неведомая сила, что влечет тебя к дому Моша Терпина, заключена в темно-голубых глазах прекрасной Кандиды. То, что ты по уши влюблен в хорошенькую дочку профессора, всем нам давно известно, а потому мы и извиняем все твои бредни и дурацкое поведение. С влюбленными уж всегда так. Ты находишься в первом периоде любовного недуга, и тебе придется на исходе юности проделать все те нелепые дурачества, с которыми мы, я и многие другие, слава богу, покончили еще в школе, не привлекая большого числа зрителей. Но поверь мне, душа моя...

Фабиан снова взял под руку своего друга и быстро зашагал с ним дальше. Они только что вышли из чащи на широкую дорогу, пролежавшую через лес. Вдруг Фабиан завидел вдалеке мчавшуюся на них в облаке пыли лошадь без седока.

– Эй-эй! – воскликнул он, прерывая свою речь. – Эй, глянь, да, никак, проклятая кляча удрала, сбросив седока... Надобно ее поймать, а потом поискать в лесу и всадника. – С этими словами он стал посреди дороги.

Лошадь все приближалась, и можно было заметить, что по бокам ее как будто болтаются ботфорты, а на седле копошится и шевелится что-то черное. Вдруг под самым носом Фабиана раздалось протяжное, пронзительное: «Тпруу! Тпруу!» – и в тот же миг над головой его пролетела пара ботфорт и какой-то странный маленький черный предмет прокатился у него между ногами. Огромная лошадь стала как вкопанная и, вытянув шею, обнюхивала своего крошечного хозяина, барахтавшегося в песке и наконец с трудом поднявшегося на ноги. Голова малыша глубоко вросла в плечи, и весь он, с наростом на спине и груди, коротким туловищем и длинными паучьими ножками, напоминал насаженное на вилку яблоко, на котором вырезана диковинная рожица... Увидав это странное маленькое чудище, Фабиан разразился громким смехом. Но малыш досадливо надвинул на глаза берет, который только что поднял с земли, и, вперив в Фабиана злобный взгляд, спросил грубым и сиплым голосом:

– Это ли дорога в Керепес?

– Да, сударь, – благожелательно и серьезно ответил Бальтазар, подав подобранные им ботфорты малышу. Все старания натянуть их оказались напрасными. Малыш то и дело перекувыркивался и со стоном барахтался в песке. Бальтазар поставил ботфорты рядом, осторожно поднял малыша и столь же заботливо опустил его ножками в эти слишком тяжелые и широкие для него футляры. С гордым видом, уперши одну руку в бок, а другую приложив к берету, малыш воскликнул: «Gratias,¹ сударь!» – направился к лошади и взял ее под уздцы. Но все его попытки достать стремя и вскарабкаться на рослое животное оказались тщетными. Бальтазар все с той же серьезностью и благожелательством подошел к нему и посадил в стремя. Должно быть, малыш слишком сильно подскочил в седле, ибо в тот же миг слетел наземь по другую сторону.

– Не горячитесь так, милейший мусье! – вскричал Фабиан, снова залившись громким смехом.

– Черт – ваш милейший мусье! – вскричал, совсем озлившись, малыш, отряхивая песок с платья. – Я студиозус, а если и вы тоже, то сие называется вызов – этот шутовской ваш смех мне в лицо, и вы должны завтра в Керепесе со мной драться!

– Черт побери, – не переставая смеяться, вскричал Фабиан, – черт подери, да это отчаянный бурш, малый хоть куда, раз дело коснулось отваги и правил чести! – С этими словами Фабиан поднял малыша и, невзирая на то что он отчаянно артачился и отбрыкивался, посадил его на лошадь, которая с веселым ржаньем тотчас же умчалась, унося своего

¹ Благодарствую (лат.).

госпожина. Фабиан держался за бока – он помирал со смеху.

– Бессердечно, – сказал Бальтазар, – глумиться над человеком, которого так жестоко, как этого крохотного всадника, обидела природа. Если он взаправду студент, то ты должен с ним драться, и притом, хотя это и против всех академических обычаев, на пистолетах, ибо владеть рапирой или эспадроном он не может.

– Как сурово, – отозвался Фабиан, – как серьезно, как мрачно ты себе все представляешь, любезный друг мой Бальтазар. Мне никогда не приходило на ум глумиться над уродством. Но скажи, пожалуйста, пристало ли такому горбатому карапузу взгромождаться на лошадь, из-за шеи которой он едва выглядывает? Пристало ли ему влезать своими ножонками в такие чертовски широкие ботфорты? Пристало ли ему напяливать такую узехонькую курточку в обтяжку, со множеством шнурков, галунов и кистей, пристало ли ему носить такой затейливый бархатный берет? Пристало ли ему принимать столь высокомерный и надутый вид? Вымучивать такой варварский, сиплый голос? Пристало все это ему, спрашиваю я, и разве нельзя с полным правом поднять его на смех, как записного шута? Но мне надобно воротиться в город, я должен поглядеть, как этот рыцарственный студизус въедет на своем гордом коне в Керепес и какая подымется там кутерьма! С тобой сегодня пива не сварить. Будь здоров! – И Фабиан во всю прыть побежал лесом в город.

Бальтазар свернул с проезжей дороги и углубился в самую чащу; там он присел на поросшую мохом кочку, горестные чувства объяли его и совсем завладели им. Быть может, он и взаправду любил прелестную Кандиду, по он схоронил эту любовь в своем сердце, скрывая ее от всех, даже от самого себя, как глубокую, нежную тайну. И когда Фабиан без обиняков с таким легкомыслием заговорил об этом, Бальтазар почувствовал себя так, словно грубые руки с кощунственной дерзостью срывают с изображения святой покрывало, которого он не смел коснуться, словно теперь он сам навеки прогневал святую. Да, слова Фабиана казались ему мерзким надругательством над всем его существом, над самыми сладостными его грезами.

– Итак, – воскликнул он в безмерной досаде, – итак, Фабиан, ты принимаешь меня за влюбленного олуха, за простака, который таскается на лекции Моша Терпина, чтобы хоть часок провести под одной кровлей с прекрасной Кандидой; который в одиночестве бродит по лесу, чтобы, сложив в уме прескверные стихи к возлюбленной, потом записать их, отчего они станут еще более жалкими; который губит деревья, вырезывая на гладкой коре глупые вензеля, а при возлюбленной и слова разумного вымолвить не может, только стонет, да вздыхает, да строит плаксивые гримасы, словно у него корчи; который у себя на груди под рубашкой хранит увядшие цветы, что были некогда приколоты к ее платью, или перчатку, которую она обронила, – ну, словом, учиняет тысячи ребяческих дурачеств! И оттого, Фабиан, ты дразнишь меня, и оттого все бурши поднимают меня на смех, и оттого, быть может, и я и весь тот внутренний мир, что открылся мне, сделались предметом насмешек. И прелестная, милая, дивная Кандида...

Едва Бальтазар вымолвил это имя, как его сердце словно пронзило огненным кинжалом. Ах! какой-то внутренний голос явственно шептал ему в это мгновение, что ведь только ради Кандиды бывает он в доме Моша Терпина, что он сочиняет стихи к любимой, вырезывает на деревьях ее имя, что он немеет в ее присутствии, вздыхает, стонет, носит на груди увядшие цветы, которые она обронила, что он и в самом деле вдался во все дурачества, в каких только может упрекнуть его Фабиан. Только теперь он почувствовал, как несказанно любит прекрасную Кандиду и вместе с тем как причудливо чистейшая, сокровеннейшая любовь принимает во внешней жизни несколько шутовское обличье, что нужно приписать глубокой иронии, заложенной самой природой во все человеческие поступки. Должно быть, в том он был прав, но он был совсем неправ, что начал из-за этого сердиться. Грезы, прежде пленявшие его, рассеялись, лесные голоса звенели теперь насмешкой и укоризной. Он бросился назад в Керепес.

– Господин Бальтазар! Mon cher² Бальтазар! – окликнул его кто-то.

Он поднял глаза и остановился замороженный, ибо навстречу шел профессор Мош

² Дорогой мой (фр.)

Терпин, ведя под руку дочь свою Кандиду. Кандида, со свойственной ей веселой и дружественной простотой, приветствовала застывшего как истукан студента.

– Бальтазар, mon cher Бальтазар! – вскричал профессор. – По правде, вы самый усердный и приятный мне слушатель! О мой дорогой, я заметил, вы любите природу со всеми ее чудесами так же, как и я, а я от нее без ума! Уж, верно, опять ботанизировали в нашей рощице? Удалось найти что-нибудь поучительное? Что ж! давайте познакомимся покороче. Посетите меня – рад видеть вас во всякое время, можем вместе делать опыты. Вы уже видели мой новый воздушный насос? Что же, mon cher, завтра вечером у меня дома состоится дружественный кружок, будем вкушать чай с бутербродами и веселить друг друга приятной беседой. Увеличьте сей кружок своей достойной особой. Вы познакомитесь с весьма привлекательным молодым человеком, коего мне рекомендовали наилучшим образом. Bon soir, mon cher! Добрый вечер, любезнейший: au revoir! До свиданья. Вы ведь завтра придете на лекцию? Ну, mon cher, adieu. – И, не дожидаясь ответа Бальтазара, профессор Мош Терпин удалился вместе со своей дочерью.

Ошеломленный Бальтазар не осмелился поднять глаза, но взоры Кандиды испепелили его грудь, он чувствовал ее дыхание, и сладостный трепет пронизывал все его существо.

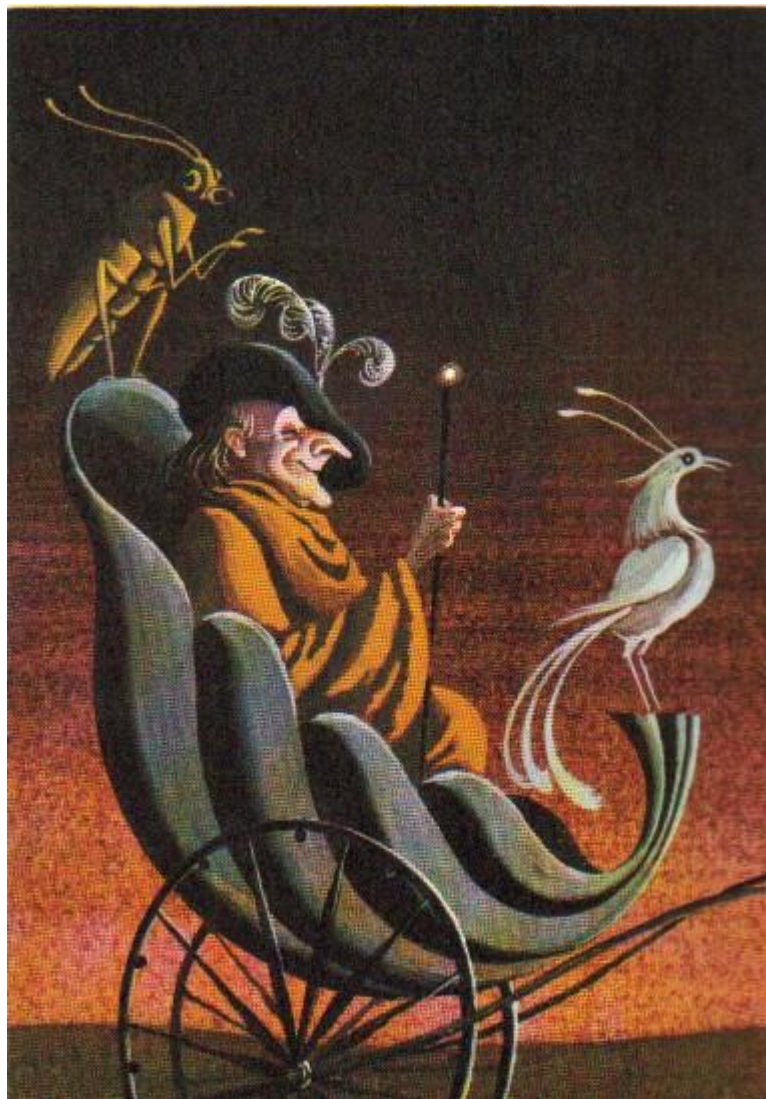
Вся его досада прошла, полный восторга, смотрел он на удалявшуюся Кандиду, пока она не скрылась за листвою зеленой аллеи деревьев. Потом он медленно углубился в лес, чтобы предаться мечтам еще более сладостным, чем когда-либо.

Глава третья

Как Фабиан не знал, что ему и сказать. Кандида и девицы, которым не дозволено есть рыбу. – Литературное чаепитие у Моша Терпина. – Юный принц.

Бросившись по тропинке, пересекавшей лес, Фабиан думал опередить умчавшегося от него диковинного малыша. Но он ошибся. Выйдя на опушку, он увидел, как вдалеке к малышу присоединился другой всадник, статный с виду, и оба уже въезжали в ворота Керепеса. «Гм! – обратился Фабиан к самому себе, – хотя этот щелкунчик и обогнал меня на большой лошади, я все же успею к заварушке, что подымеется по его приезде. Ежели этот странный малый и в самом деле студиозус, то ему укажут на „Крылатого коня“, а ежели он там остановится да с тем же пронзительным „тпру-тпру!“ скинет ботфорты и сам слетит за ними, да озлится и взъерепенится, когда студенты покатаются со смеху, – ну, тут и пойдет потеха!»





Входя в город, Фабиан полагал, что на всех улицах по пути к «Крылатому коню» он услышит только смех. Не тут-то было! Все проходили мимо спокойно и серьезно. Столь же серьезно прогуливались, рассуждая друг с другом, студенты, собирающиеся, по обыкновению, на площади перед «Крылатым конем». Фабиан был уверен, что малыш, по крайней мере, здесь еще не появлялся, но, заглянув в ворота гостиницы, заметил, что в конюшню ведут лошадь малыша, которую было очень легко узнать. Он бросился к первому попавшемуся знакомцу и спросил, не проезжал ли тут, часом, некий странный и весьма диковинный человек. Тот, к кому обратился Фабиан, ничего не знал, равно как и все остальные, кому только ни рассказывал Фабиан, что приключилось у него с малышом, который выдавал себя за студента. Все смеялись до упаду, но уверяли, что никакого такого странного малого, схожего с тем, как он описывает, здесь не объявлялось. Правда, минут за десять перед тем в гостиницу «Крылатый конь» прибыли два статных всадника на прекрасных лошадях.

– А не сидел ли один из них на той лошади, что сейчас провели на конюшню? – спросил Фабиан.

– Разумеется, – отвечал один из спрошенных, – разумеется. Тот, что прибыл на этой лошади, правда маловат ростом, однако хорошо сложен, приятен лицом, и у него самые прекрасные вьющиеся волосы, какие только бывают на свете. Притом он показал себя превосходным наездником, ибо спешил с такой ловкостью, с таким достоинством, словно первый шталмейстер нашего князя.

– И не потерял ботфорт? – воскликнул Фабиан. – И не покатился вам под ноги?

– Сохрани бог! – отвечали все в один голос. – Сохрани бог! С чего это ты, брат, взял? Такой умелый ездок, как малыш!

Фабиан не знал, что и молвить. Тут на улице появился Бальтазар. Фабиан бросился к

нему, потащил за собой и рассказал, что маленький карапуз, который повстречался им неподалеку от городских ворот и свалился с лошади, только что прибыл сюда, и все приняли его за красивого, статного мужчину и превосходного наездника.

– Вот видишь, – серьезно и рассудительно отвечал Бальтазар, – вот видишь, любезный брат, не все, подобно тебе, столь жестоко насмеваются над несчастным, обделенным самой природой!

– Ах, боже ты мой! – перебил его Фабиан. – Да ведь тут речь идет не о насмешке и жестокосердии, а о том, можно ли назвать красивым и статным мужчиной малыша в три фута ростом, к тому же не лишнего сходства с редькой?

Бальтазар был принужден подтвердить слова Фабиана относительно роста и наружности маленького студента. Остальные стояли на том, что маленький всадник – красивый, стройный мужчина, тогда как Фабиан и Бальтазар продолжали уверять, что им никогда не доводилось видеть более отвратительного карлика. Тем дело и кончилось, и все разошлись весьма озадаченные.

Давно смерклось, когда оба друга отправились домой. Вдруг Бальтазар, сам не зная как, проговорился, что он повстречался с профессором Мошем Терпином и тот пригласил его к себе на завтрашний вечер.

– Вот счастливцев! – вскричал Фабиан. – Вот расщастливейший человек! Там ты увидишь и услышишь свою красотку, прелестную мамзель Кандиду, будешь с нею разговаривать!

Бальтазар, снова глубоко оскорбленный, бросился в сторону и хотел удалиться. Однако одумался, остановился и, с трудом поборов досаду, сказал:

– Должно быть, ты прав, любезный брат, когда считаешь меня безрассудным влюбленным шутом, я, пожалуй, и впрямь таков. Но это безрассудство – глубокая болезненная рана, томящая дух мой, и тот, кто неосторожно прикоснется к ней, может, причинив жестокую боль, побудить меня ко всяческим дурачествам. Поэтому, брат, ежели ты меня вправду любишь, то не произноси при мне имени Кандиды.

– Ты опять, – возразил Фабиан, – ты опять смотришь на вещи ужасно трагически, и в твоём состоянии от тебя иного и ожидать нельзя. Но, чтоб не заводить с тобой мерзкой распри, обещаю, что уста мои не вымолвят имя Кандиды, пока ты сам не подашь к тому повода. Дозволь только мне еще сказать, что, как я предвижу, твоя влюбленность доставит тебе немалую досаду. Кандида – премиленькая, славная девушка, но она никак не подходит к меланхолическому, мечтательному складу твоей души. Познакомишься ты с ней покороче, и ее непринужденный, веселый нрав покажется тебе чуждым поэзии, которой тебе всюду недостает. Ты предашься диковинным мечтаньям, и все кончится большим переполохом – ужасной воображаемой мукой и приличествующим сему отчаянием. Впрочем, я, равно как и ты, приглашен на завтра к нашему профессору, который займет нас весьма интересными физическими опытами. Ну! Спокойной ночи, удивительный мечтатель! Спи, ежели сможешь заснуть перед столь знаменательным днем, как завтрашний.

С этими словами Фабиан оставил своего друга, погруженного в глубокую задумчивость. Фабиан, пожалуй, не без основания предвидел всякого рода патетические злоключения, которые могут претерпеть Кандида и Бальтазар, ибо нрав и склад души обоих, казалось, и в самом деле подавали достаточный к тому повод.

У Кандиды были лучистые, пронизывающие сердце глаза и чуть-чуть припухлые алые губы, и она – с этим принужден согласиться всякий – была писаная красавица. Я не припомню, белокурыми или каштановыми следовало бы назвать прекрасные ее волосы, которые она умела так причудливо укладывать, заплетая в дивные косы, – мне лишь весьма памятна их странная особенность: чем дольше на них смотришь, тем темнее и темнее они становятся. Это была высокая, стройная, легкая в движениях девушка, воплощенная грация и приветливость, в особенности когда ее окружало оживленное общество; при стольких прелестях ей весьма охотно прощали то обстоятельство, что ее ручки и ножки могли бы, пожалуй, быть и поменьше и поизящней. Притом Кандида прочла гетевского «Вильгельма Мейстера», стихотворения Шиллера и «Волшебное кольцо» Фуке и успела позабыть почти все, о чем там говорилось; весьма сносно играла на фортепьянах и даже иногда подпевала; танцевала новейшие гавоты и французские кадрили и почерком весьма разборчивым и тонким записывала белье, назначенное

в стирку. А если уж непременно надо выискать у этой милой девушки недостатки, то, пожалуй, можно было не одобрить ее грубоватый голос, то, что она слишком туго затягивалась, слишком долго радовалась новой шляпке и съедала за чаем слишком много пирожного. Непомерно восторженным поэтам еще многое в прелестной Кандиде пришлось бы не по сердцу, но чего они только не требуют! Прежде всего они хотят, чтоб от всего, что они ни изрекут, девица приходила в сомнамбулический восторг, глубоко вздыхала, закатывала глаза, а иногда на короткое время падала в обморок или даже лишалась зрения, что являет собой уже высшую ступень женственнейшей женственности. Далее помянутой девице полагается распевать песни, сложенные поэтом, причем мелодия должна сама родиться в ее сердце, после чего ей (то бишь девице) надлежит внезапно занемочь, и тоже начать писать стихи, однако весьма стыдиться, когда это выйдет наружу, невзирая на то что она сама, переписав их нежным почерком на тонко надушенной бумаге, вручит поэту, который своим чередом также занеможет от восторга, что ему, впрочем, никак нельзя вменить в вину. Есть на свете поэтические аскеты, которые заходят еще дальше и полагают, что если девушка смеется, ест, пьет и мило одевается по моде, то это противно всякой нежной женственности. Они почти уподобляются святому Иерониму, который запрещает девушкам есть рыбу и носить серьги. Им надлежит, так велит святой, вкушать лишь малую толику чуть приправленной травы, непрестанно быть голодными, не чувствуя голода, облекаться в грубые, худо сшитые одежды, которые скрывали бы их стан, и прежде всего избрать себе в спутницы особу серьезную, бледную, унылую и несколько неопрятную.

Веселость и непринужденность вошли в плоть и кровь Кандиды, и потому ей более всего по душе были беседы, пролетавшие на легких, воздушных крыльях беззлобного юмора. Она покатывалась со смеху при всем, что ее смешило; она никогда не вздыхала, разве только непогода помешает задуманной прогулке или, невзирая на все предосторожности, на новую шаль сядет пятно. Но, когда был для того подлинный повод, в ней проглядывало и глубокое, искреннее чувство, никогда не переходившее в пошлую чувствительность, и нам с тобой, любезный читатель, людям отнюдь не восторженным, эта девушка как раз пришлась бы по сердцу. Но с Бальтазаром дело легко могло обернуться иначе. Однако мы вскорости увидим, насколько правильны были предсказания прозаического Фабиана.

То, что Бальтазар от непрестанного волнения, от несказанного сладостного трепета не мог всю ночь сомкнуть глаз, было вполне естественно. Весь поглощенный образом возлюбленной, он сел к столу и сочинил изрядное число приятных, благозвучных стихов, описав собственное свое состояние в мистическом рассказе о любви соловья к алой розе. Он решил взять с собой эти стихи на литературное чаепитие у Моша Терпина и, как только представится случай, атаковать ими беззащитное сердце Кандиды.

Фабиан чуть усмехнулся, когда к назначенному часу по уговору зашел за своим другом и застал его таким разряженным, каким еще не доводилось видеть. На нем был зубчатый воротник из тончайших брюссельских кружев, короткий камзол рубчатого бархата с прорезанными рукавами. Притом он был во французских сапожках с высокими острыми каблуками и серебряной бахромой, в английской шляпе тончайшего кастора и в датских перчатках. Итак, он был одет совсем по-немецки, и наряд этот чрезвычайно шел к нему, тем более что он прекрасно завил волосы и расчесал маленькие усики.

Сердце Бальтазара затрепетало от восторга, когда в доме Моша Терпина навстречу ему вышла Кандида в полном одеянии древнегерманской девы; приветливость и веселость были в ее зоре, словах, во всем ее существе, как, впрочем, и всегда. «Прелестная дева!» – испустил томный вздох Бальтазар, когда Кандида, сама сладчайшая Кандида, преподнесла ему чашку дымящегося чая. Но Кандида взглянула на него лучистыми глазами и молвила:

– Вот ром и мараскин, сухари и пумперникель, сделайте одолжение, любезный господин Бальтазар, берите, что вам угодно.

Но, вместо того чтобы взглянуть на ром и мараскин, сухари и пумперникель, а то и приняться за них, восторженный Бальтазар не мог отвести взора, полного искренней любви и мучительного томления, от прелестной девы и тцился найти слова, которые должны были выразить все, что в это мгновение чувствовал он в глубине души. Но тут сзади его облапил профессор эстетики – дюжий, здоровенный мужчина – и, повернув его лицом к себе, так что Бальтазар расплескал больше чая, чем позволяло приличие, взревел громоподобным голосом:

– Дражайший Лукас Кранах! Не хлещите презренную воду, вы вконец сгубите ваш германский желудок, – наш доблестный Мош выставил в той зале батарею прекрасных бутылок с благородным рейнвейном; сейчас мы с ними сразимся! – И он потащил за собой несчастного юношу.

Но из соседней комнаты навстречу им, ведя за руку маленького, весьма диковинного человечка, вышел профессор Мош Терпин и громко возвестил:

– Милостивейшие государыни и милостивейшие государи, позвольте представить вам одаренного редчайшими способностями юношу, которому не составит труда снискать вашу приязнь и расположение. Этот молодой человек, господин Циннобер, только вчера прибыл в наш университет, где предполагает изучать право!

Фабиан и Бальтазар с первого взгляда узнали диковинного карапуза, который наехал на них неподалеку от городских ворот и свалился с лошади.

– Неужто мне, – шепнул Фабиан Бальтазару, – неужто мне придется теперь вызвать этого альрауна драться на духовых дудках или на сапожных шилах? Я ведь не могу употребить другое оружие против столь ужасного противника.

– Стыдись, – отвечал Бальтазар, – стыдись, ты глумишься над несчастным калекой, который, как ты слышал, одарен редчайшими способностями, так что телесные преимущества, в коих ему отказала природа, вознаграждены умственными достоинствами. – Тут он обратился к малышу и сказал:

– Надеюсь, любезнейший господин Циннобер, вчерашнее ваше падение с лошади не возымело дурных последствий?

Циннобер оперся на маленькую тросточку, которую держал за спиной в руке, привстал на цыпочки, так что пришлось Бальтазару почти по пояс, запрокинул голову, уставившись на него дико сверкающими глазами, и странным, сирым басом ответил:

– Не знаю, что вам угодно, сударь, о чем вы говорите? Упал с лошади? Я упал с лошади? Вам, верно, неизвестно, что во всем свете не сыскать лучшего наездника, чем я, что я никогда не падал с лошади, что я служил волонтером в кирасирах, проделал с ними поход и обучал в манеже верховой езде офицеров и солдат. Гм! Гм! «Упал с лошади!» Я упал с лошади? – Тут он хотел круто повернуться, но тросточка, на которую он опирался, выскользнула у него из рук, и малыш закувыркался у ног Бальтазара. Бальтазар стал шарить внизу рукой, чтобы помочь малышу подняться, но ненароком прикоснулся к его голове. Тут малыш испустил пронзительный крик, отозвавшийся во всей зале, так что гости в испуге повскакали с мест. Бальтазара окружили и наперебой стали расспрашивать, чего это он, ради самого неба, закричал столь ужасно.

– Не прогневайтесь, любезнейший господин Бальтазар, – обратился к нему профессор Мош Терпин. – Все же это довольно странная шутка. Вы, верно, хотели, чтобы мы подумали, что здесь кто-то наступил на хвост кошке.

– Кошка, кошка! Уберите кошку! – завопила какая-то слабонервная дама и тотчас упала в обморок. С криками: «Кошка, кошка!» – бросились к выходу два престарелых господина, страдавших той же идиосинক্রазией.

Кандида, вылившая весь свой нюхательный флакон на упавшую в обморок даму, тихо заметила Бальтазару:

– Каких бед натворили вы, господин Бальтазар, своим мерзким пронзительным мяуканьем!

Бальтазар не мог понять, что с ним творится. Лицо его пылало от стыда и досады, он был не в силах вымолвить ни единого слова, сказать, что ведь замаякал так ужасно не он, а маленький господин Циннобер.

Профессор Мош Терпин заметил тягостное замешательство юноши. Он подошел к нему и дружески сказал:

– Ну, дорогой господин Бальтазар, ну, успокойтесь, наконец! Я ведь отлично все видел. Пригнувшись к земле, прыгая на четвереньках, вы бесподобно подражали рассерженному злобному коту. Я и сам люблю подобные шутки из естественной истории, но здесь, во время литературного чаепития...

– Позвольте, – сорвалось наконец с языка Бальтазара, – позвольте, почтеннейший

господин профессор, так ведь то был не я!

– Ну, хорошо, хорошо! – перебил его профессор.

К ним подошла Кандида.

– Утешь, – обратился к ней Мош Терпин, – утешь, пожалуйста, любезнейшего Бальтазара, он совсем подавлен приключившейся тут сумятицей.

Доброй Кандиде от всего сердца было жаль бедного Бальтазара, который, потупив взор, стоял перед ней в совершенном замешательстве. Она протянула ему руку и, приветливо улыбаясь, прошептала:

– Какие, право, смешные бывают люди, что так боятся кошек.

Бальтазар с великой горячностью прижал руку Кандиды к губам. Исполненный чувства взор ее небесных очей покоился на нем. Бальтазар был в несказанном восторге и не помышлял более о Циннобере и кошачьем визге. Суматоха улеглась, спокойствие было восстановлено. У чайного столика сидела слабонервная дама и наслаждалась сухариками, макая их в ром и уверяя, что это подкрепляет ее душу, коей угрожают враждебные силы, так что внезапный испуг сменяется томной надеждой.

Также два престарелых господина, которым на улице и в самом деле попался под ноги прыткий кот, возвратились успокоенные и засели, равно как и многие другие, за карточный стол.

Бальтазар, Фабиан, профессор эстетики и несколько молодых людей подсели к дамам. Господин Циннобер тем временем пододвинул скамеечку и с помощью ее взобрался на диван, где уселся между двумя дамами, обводя всех горделивым, сверкающим взором.

Бальтазар решил, что ему пора выступить со своими стихами о любви соловья к алой розе. Поэтому он с приличествующей скромностью, которая в обычае у молодых поэтов, объявил, что, если бы он не боялся наскучить в причинить досаду, если бы он смел надеяться на благосклонную снисходительность почтенного собрания, он бы отважился прочитать стихи – последнее творение своей музыки.

И так как дамы уже в досталь наговорились обо всем, что случилось нового в городе, и так как девицы надлежащим образом обсудили последний бал у президента и даже пришли к некоторому согласию насчет новейшего фасона шляпок, а мужчины еще добрых два часа не могли рассчитывать на новое угощение и выпивку, то все в один голос стали упрашивать Бальтазара не лишать общество столь божественного отдохновения.

Бальтазар вынул тщательно перебеленную рукопись и принялся читать.

Собственные стихи, со всей силой, со всей живостью возникшие из подлинного поэтического чувства, все сильнее воодушевляли его. Чтение его все более проникалось страстью, обнаруживая весь пыл любящего сердца. Он трепетал от восторга, когда тихие вздохи, еле слышные «ах» женщин и восклицания мужчин: «Великолепно, превосходно, божественно!» – убеждали его в том, что стихи увлекли всех.

Наконец он кончил. Тут все вскричали:

– Какое творение! Сколько мысли! Сколько фантазии! Какие стихи! Какое благозвучие! Благодарим, благодарим, любезный господин Циннобер, за божественное наслаждение!

– Как? Что? – вскричал Бальтазар, но на него никто не обратил внимания, – все устремились к Цинноберу, который, сидя на диване, заважничал, словно индюк, и противно сипел:

– Покорно благодарю, покорно благодарю, не взыщите. Это безделица, я набросал ее наскоро прошедшей ночью.

Но профессор эстетики вопил:

– Дивный, божественный Циннобер! Сердечный друг, после меня ты – первейший поэт на свете! Приди в мои объятия, прекрасная душа! – И он сгреб малыша с дивана, поднял его на воздух, стал прижимать к сердцу и целовать. Циннобер при этом вел себя весьма непристойно. Он дубасил маленькими ножонками по толстому животу профессора и пищал:

– Пусти меня, пусти меня! Мне больно, больно, больно! Я выцарапаю тебе глаза, я прокушу тебе нос!

– Нет! – вскричал профессор, опуская малыша на диван. – Нет, милый друг, к чему такая чрезмерная скромность.

Мош Терпин, оставив карточный стол, тоже подошел к ним, пожал крошечную ручку Циннобера и сказал очень серьезно:

– Прекрасно, молодой человек, – отнюдь не преувеличивая, нет, мало нарасказали мне об одухотворяющем вас высоком гении.

– Кто из вас, – снова закричал в полном восторге профессор эстетики, – кто из вас, о девы, наградит поцелуем дивного Циннобера за стихи, в коих выражено сокровеннейшее чувство самой сильной любви?

Кандида встала, – щеки ее пылали, – она приблизилась к малышу, опустила на колени и поцеловала его мерзкий рот, прямо в синие губы.

– Да, – вскричал Бальтазар, словно пораженный внезапным безумием, – да, Циннобер, божественный Циннобер, ты сложил меланхолические стихи о соловье и алой розе, и ты заслужил дивную награду, тобой полученную!

С этими словами он увлек Фабиана в соседнюю комнату и проговорил:

– Сделай одолжение, посмотри на меня хорошенько и скажи мне откровенно и по совести, в самом ли деле я студент Бальтазар, или нет, впрямь ли ты Фабиан, верно ли, что мы в доме Моша Терпина, – или это сон, или мы походили с ума? Потяни меня за нос или встряхни, чтоб я избавился от этого проклятого наваждения.

– Ну, как это ты можешь, – возразил Фабиан, – ну, как это ты можешь так бесноваться из простой ревности, оттого что Кандида поцеловала малыша. Тебе все же надобно признать, что стихотворение, которое прочитал малыш, и в самом деле превосходно.

– Фабиан, – в глубочайшем изумлении вскричал Бальтазар, – что ты говоришь?

– В самом деле, – продолжал Фабиан, – в самом деле стихотворение малыша было превосходно, и я нахожу, что он заслужил поцелуй Кандиды. Вообще мне сдается, в нем кроется много такого, что дороже красивой наружности. Даже его фигура уже не кажется мне столь отвратительной, как сперва. Во время чтения стихов внутреннее воодушевление скрасило черты его лица, так что он подчас казался мне привлекательным, стройным юношей, невзирая на то что его голова чуть виднелась из-за стола. Оставь свою вздорную ревность и подружись с ним как поэт с поэтом.

– Что? – вскричал в гневе Бальтазар. – Что? Мне еще подружиться с проклятым оборотнем, которого я охотно задушил бы вот этими руками!

– Итак, – сказал Фабиан, – итак, ты совсем глух к голосу разума. Однако ж возвратимся в залу: там, верно, случилось что-нибудь новое, я слышу громкие похвалы!

Бальтазар машинально последовал за своим другом.

Когда они вошли, посреди залы одиноко стоял Мош Терпин, в руках у него еще были инструменты, с помощью которых он, по-видимому, производил какой-то физический опыт; лицо его хранило величайшее изумление. Все общество столпилось вокруг маленького Циннобера. Опершись на трость, он стоял на цыпочках и с гордым видом принимал похвалы, сыпавшиеся со всех сторон. Но вот все опять обратились к профессору, который показывал новый весьма искусный фокус. Едва он кончил, как все снова окружили малыша, восклицая:

– Великолепно, превосходно, милейший господин Циннобер!

Наконец и Мош Терпин подскочил к малышу и громче всех завопил:

– Великолепно, превосходно, милейший господин Циннобер!

Среди гостей был и юный принц Грегор, обучавшийся в университете. Принц был наделен приятнейшей внешностью, какую только можно себе представить, и притом в его обращении было столько благородства и непринужденности, что явственно сказывалось и высокое происхождение, и привычка вращаться в высшем свете.

Принц Грегор ни на одно мгновение не отходил от Циннобера и расточал ему непомерные похвалы как превосходнейшему поэту и искуснейшему физику.

Странное зрелище являли они друг подле друга.

Рядом со статным Грегором совсем диковинным казался этот крошечный человечек, который, высоко задрав нос, сам едва держался на тоненьких ножках. Однако взоры всех женщин были устремлены не на принца, а на малыша, который беспрестанно подымался на цыпочки и тут же снова опускался, весьма напоминая этим картезианского чертика.

Профессор Мош Терпин подошел к Бальтазару и сказал:

– Ну, что вы скажете о моем протеже, о моем любезном Циннобере? В нем много кроется, и когда я на него погляжу хорошенько, то угадываю, какое, собственно, тут замешано обстоятельство. Пастор, который вырастил его и рекомендовал мне, весьма таинственно говорит о его происхождении. Но поглядите только на его достойную осанку, на его благородное, непринужденное обращение. Он, нет сомнения, княжеской крови, быть может, даже принц.

В эту минуту доложили, что готов ужин. Циннобер, неуклюже ковыляя, подошел к Кандиде, неловко схватил ее за руку и повел к столу.

Непроглядной ночью, сквозь дождь и бурю, в бешенстве бежал несчастный Бальтазар домой.

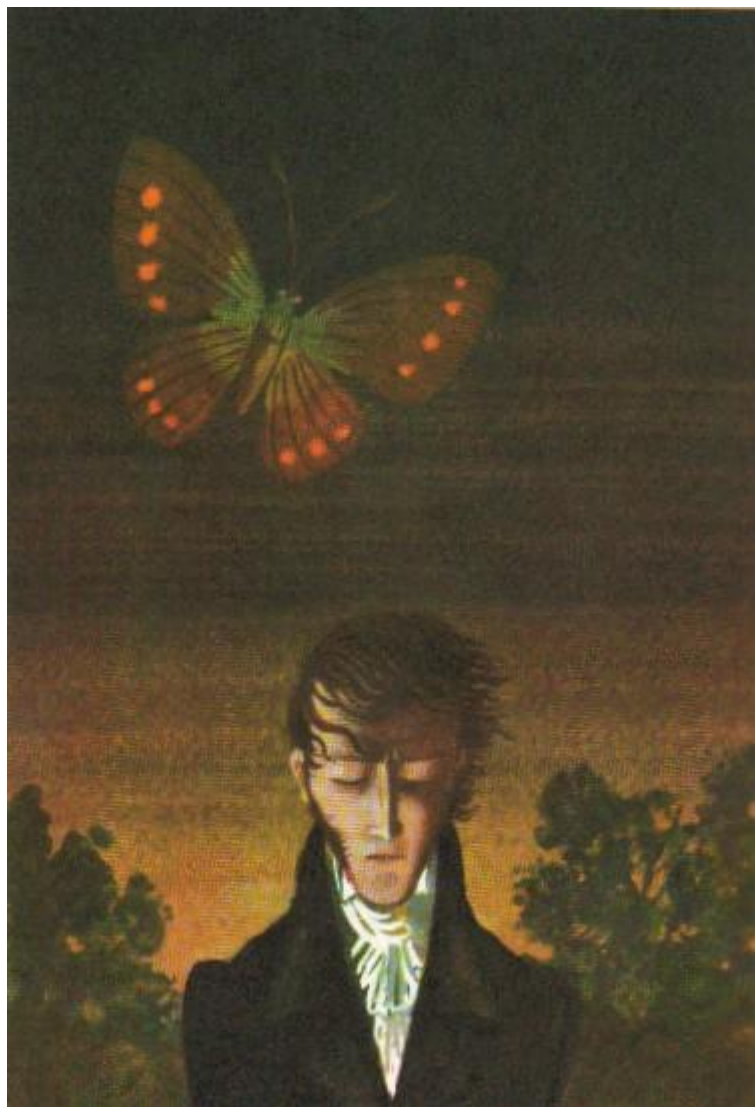
Глава четвертая

Как итальянский скрипач Сбьокка грозил засунуть господина Циннобера в контрабас, а референдарий Пульхер не смог попасть в министерство иностранных дел. – О таможенных чиновниках и конфискованных чудесах для домашнего обихода. – Бальтазар заколдован с помощью набалдашника.

На мшистом камне в самой глуши леса сидел Бальтазар и задумчиво смотрел вниз в расщелину, где ручей, пенясь, бурлил меж обломков скал и густых зарослей. Темные тучи неслись по небу и скрывались за горами; шум воды и деревьев раздавался как глухой стон, к нему примешивались пронзительные крики хищных птиц, которые подымались из темной чащи в небесные просторы и летели вслед убегающим облакам.

Бальтазару казалось, будто в чудесных лесных голосах слышится безутешная жалоба природы, словно сам он должен раствориться в этой жалобе, словно все бытие его – только чувство глубочайшего непреодолимого страдания. Сердце его разрывалось от скорби, и когда частые слезы застилали его глаза, чудилось, будто духи лесного ручья смотрят на него и простирают к нему из волн белоснежные руки, чтобы увлечь его в прохладную глубину.

Вдруг вдалеке послышались веселые, звонкие звуки рожка; они принесли утешение его душе и пробудили в нем страстное томление, а вместе с тем и сладостную надежду. Он огляделся вокруг, и, пока доносились звуки рожка, зеленые тени леса не казались ему столь печальными, ропот ветра и шепот кустов столь жалобными. Он обрел дар речи.





– Нет! – воскликнул он, вскочив на ноги и устремив сверкающий взор вдаль; – нет, не вся надежда исчезла! Верно только, что какая-то темная тайна, какие-то злые чары нарушили мою жизнь, но я сломаю эти чары, даже если мне придется погибнуть! Когда я, увлеченный, побежденный чувством, от которого готова была разорваться моя грудь, признался прелестной, несравненной Кандиде в моей любви, разве не прочел я в ее взоре, разве не почувствовал в пожатии ее руки свое блаженство? Но стоит появиться этому маленькому чудищу, как вся любовь обращается к нему. На него, на этого проклятого выродка, устремлены очи Кандиды, и томные вздохи вырываются из ее груди, когда неуклюжий урод приближается к ней или берет ее руку. Тут, должно быть, скрыто какое-то таинственное обстоятельство, и, если бы я верил нянюшкиным сказкам, я бы стал уверять всех, что малыш заколдован и может, как говорится, наводить на людей порчу. Какое сумасбродство – все смеются и потешаются над уродливым человеком, обделенным самой природой, а стоит малышу появиться, – все начинают превозносить его как умнейшего, ученейшего, наикрасивейшего господина студента среди всех присутствующих. Да что я говорю! Разве со мной подчас не происходит почти то же самое, разве не кажется мне порой, что Циннобер и красив и разумен? Только в присутствии Кандиды я не подвластен этим чарам, и господин Циннобер остается глупым мерзким уродцем. Но что бы там ни было, я воспротивлюсь вражьей силе, в моей душе дремлет неясное предчувствие, что какая-нибудь нечаянность вложит мне в руки оружие против этого чертова отродья!

Бальтазар отправился назад в Керепес. Бредя по лесной тропинке, заметил он на проезжей дороге маленькую, нагруженную кладью повозку, из оной кто-то приветливо махал ему белым платком. Он подошел поближе и узнал господина Винченцо Сбюкка, всесветно прославленного скрипача-виртуоза, которого он чрезвычайно высоко ценил за его превосходную, выразительную игру и у кого он уже два года, как брал уроки.

– Вот хорошо! – вскричал Сбюкка, выскочив из повозки. – Вот хорошо, любезный

господин Бальтазар, мой дорогой друг и ученик, что я еще повстречал вас и могу сердечно проститься с вами.

– Как? – удивился Бальтазар. – Как, господин Сбьокка, неужто вы покидаете Керепес, где вас так почитают и уважают и где всем вас будет не доставать?

– Да, – отвечал Сбьокка, и вся кровь бросилась ему в лицо от скрытого гнева, – да, господин Бальтазар, я покидаю город, где все спятили, город, который подобен дому умалишенных. Вчера вы не были в моем концерте, вы прогуливались за городом, а то бы вы помогли мне защититься от беснующейся толпы, что набросилась на меня.

– Да что же случилось? Скажите, бога ради, что случилось? – вскричал Бальтазар.

– Я играю, – продолжал Сбьокка, – труднейший концерт Виотти. Это моя гордость, моя отрада. Вы ведь слышали, как я его играю, и еще ни разу не случилось, чтоб он не привел вас в восторг. А вчера, могу сказать, я был в необыкновенно счастливом расположении духа – *anima*, разумею я, весел сердцем – *spirito alato*, разумею я. Ни один скрипач во всем свете, будь то хоть сам Виотти, не сыграл бы лучше. Когда я кончил, раздались яростные рукоплескания – *furore*, разумею я, чего я и ожидал. Взяв скрипку под мышку, я выступил вперед, чтобы учтиво поблагодарить публику. Но что я вижу, что я слышу? Все до единого, не обращая на меня ни малейшего внимания, столпились в одном углу залы и кричат: «Bravo, bravissimo, божественный Циннобер! Какая игра! Какая позиция, какое искусство!» Я бросаюсь в толпу, проталкиваюсь вперед. Там стоит отвратительный уродец в три фута ростом и мерзким голосом гнусавит: «Покорно благодарю, покорно благодарю, играл как мог, правда, теперь я сильнейший скрипач во всей Европе, да и в прочих известных нам частях света». – «Тысяча чертей! – воскликнул я. – Кто же наконец играл: я или тот червяк!» И так как малыш все еще гнусавил: «Покорно благодарю, покорно благодарю», – я кинулся к нему, чтобы наложить на него всю аппликатуру. Но тут все бросаются на меня и мелют всякий вздор о зависти, ревности и недоброжелательстве. Между тем кто-то завопил: «А какая композиция!» И все наперебой начинают кричать: «Какая композиция! Божественный Циннобер! Вдохновенный композитор!» С еще большей досадой я вскричал: «Неужто здесь все походили с ума, стали одержимыми? Этот концерт сочинил Виотти, а играл его я, я – прославленный скрипач Винченцо Сбьокка!» Но тут они меня хватают и говорят об итальянском бешенстве – *gabbia*, разумею я, о странных случаях, наконец силой выводят меня в соседнюю комнату, обходятся со мной как с больным, как с умалишенным. Короткое время спустя ко мне вбегают синьора Брагацци и падает в обморок. С ней приключилось то же, что и со мной. Едва она кончила арию, как всю залу потрясли крики: «Bravo, bravissimo, Циннобер!» И все вопили, что во всем свете не сыскать такой певицы, как Циннобер, а он опять загнусавил свое проклятое «благодарю». Синьора Брагацци лежит в горячке и скоро помрет, а я спасаюсь бегством от этого обезумевшего народа. Прощайте, любезнейший господин Бальтазар. Если доведется вам увидеть синьорину Циннобера, то передайте ему, пожалуйста, чтобы он не показывался ни на одном концерте вместе со мной. А не то я непременно схвачу его за паучьи ножки и засуну через отверстие в контрабас, – пусть он там всю жизнь разыгрывает концерты и распевает арии сколько душе угодно. Прощайте, дорогой мой Бальтазар, да смотрите не оставляйте скрипку! – С этими словами господин Винченцо Сбьокка обнял оцепеневшего от изумления Бальтазара и сел в повозку, которая быстро укатила.

«Ну, разве не был я прав, – рассуждал сам с собою Бальтазар, – ну, разве не был я прав, полагая, что этот зловещий карлик, этот Циннобер, заколдован и может наводить на людей порчу».

В эту минуту мимо него стремительно пробежал молодой человек, бледный, расстроенный, – безумие и отчаяние написано было на его лице. У Бальтазара стало тревожно на сердце. Ему показалось, что в этом юноше он узнал одного из своих друзей, и потому он поспешно бросился за ним в лес. Пробежав шагов двадцать-тридцать, он завидел референдария Пульхера, который стоял под высоким деревом и, возведя взоры к небу, говорил:

– Нет! Нельзя долее сносить этот позор! Надежды всей жизни пропали! Осталась лишь могила. Прости, жизнь, мир, надежда, любимая!

И с этими словами впавший в отчаяние референдарий выхватил из-за пазухи пистолет и приставил его ко лбу.

Бальтазар с быстротой молнии кинулся к референдарию, вырвал у него из рук пистолет, отбросил его далеко в сторону и воскликнул:

– Пульхер, ради бога, что с тобой, что ты делаешь?

Референдарий несколько минут не мог опомниться. В полубеспамятстве опустил он на траву. Бальтазар подсел к нему и стал говорить различные утешительные слова, какие только приходили ему на ум, ничего не зная о причине отчаяния Пульхера.

Бессчетное число раз спрашивал его Бальтазар, что же такое страшное приключилось с ним, что навело его на черные мысли о самоубийстве? Наконец Пульхер тяжело вздохнул и заговорил:

– Тебе, любезный друг Бальтазар, известно, в каких стесненных обстоятельствах я нахожусь. Ты знаешь, что я возлагал все надежды на то, что займу вакантное место тайного экспедитора в министерстве иностранных дел; ты знаешь, с каким усердием, с каким прилежанием готовился я к этой должности. Я представил свои сочинения, которые, как я с радостью узнал, заслужили совершенное одобрение министра. С какой уверенностью предстал я сегодня поутру к устному испытанию! В зале я заметил маленького уродливого человека, который тебе хорошо известен под именем господина Циннобера. Советник, которому было поручено произвести испытание, приветливо подошел ко мне и сказал, что ту же самую должность, какую желаю получить я, ищет заступить также господин Циннобер, потому он будет экзаменовывать нас обоих. Затем он шепнул мне на ухо: «Вам, любезный референдарий, нечего опасаться вашего соперника; работы, которые представил маленький Циннобер, из рук вон плохи». Испытание началось; я ответил на все вопросы советника. Циннобер ничего не знал, ровным счетом ничего, вместо ответа он сипел и квакал и нес какую-то невнятную околесицу, которую никто не мог разобрать, и так как при этом он непристойно корячился и дрыгал ногами, то несколько раз падал с высокого стула, так что мне приходилось его поднимать и сажать на место. Сердце мое трепетало от радости; благосклонные взоры, которые советник бросал на малыша, я принимал за самую едкую иронию. Испытание окончилось. Но кто опишет мой ужас! словно внезапная молния повергла меня наземь, когда советник обнял малыша и сказал, обращаясь к нему: «Чудеснейший человек! Какие познания! Какой ум! Какая пронизательность! – И потом ко мне: – Вы жестоко обманули меня, господин референдарий Пульхер. Вы ведь совсем ничего не знаете. И, не в обиду вам будь сказано, во время экзамена вы хотели придать себе бодрости весьма недостойным образом и против всякого приличия. Вы даже не могли удержаться на стуле и все время падали, а господин Циннобер был принужден поднимать вас. Дипломаты должны быть безукоризненно трезвы и рассудительны. Adieu, господин референдарий». Я все еще полагал, что меня морочат. Я решил пойти к министру. Он велел мне передать, что не понимает, как это я, выказав себя таким образом на экзамене, еще осмелился утруждать его своим посещением, – ему уже обо всем известно! Должность, которой я добивался, уже отдана господину Цинноберу! Итак, какая-то адская сила похитила у меня все надежды, и я хочу добровольно принести в жертву свою жизнь, которая стала добычей темного рока! Оставь меня!

– Ни за что! – вскричал Бальтазар. – Сперва выслушай меня.

И он рассказал все, что знал о Циннобере, начиная с его первого появления у ворот Керепеса; что произошло с ним и с малышом в доме Моша Терпина и что только сейчас поведал Винченцо Сбьокка.

– Несомненно лишь, – добавил Бальтазар, – что во всех проделках этого окаянного уroda скрыто что-то таинственное, и поверь мне, друг Пульхер, если тут замешано какое-нибудь адское колдовство, то нужно только с твердостью ему воспротивиться. Победа несомненна там, где есть мужество. А посему не отчаивайся и не принимай поспешного решения. Давай сообща ополчимся на этого ведьменьша.

– Ведьменьш! – с жаром вскричал референдарий. – Да, ведьменьш! Что этот карлик – проклятый ведьменьш, – это несомненно! Однако ж, брат Бальтазар, что это с нами, неужто мы грезим? Колдовство, волшебные чары, – да разве с этим давным-давно не покончено? Разве много лет тому назад князь Пафнутий Великий не ввел просвещение и не изгнал из нашей страны все сумасбродные бесчинства и все непостижимое, а эта проклятая контрабанда все же сумела к нам вкрасться. Гром и молния! Об этом следует тотчас же донести полиции и

таможенным приставам. Но нет, нет, только людское безумие или, как я опасаясь, неслыханный подкуп – причина наших несчастий. Проклятый Циннобер, должно быть, безмерно богат. Недавно он стоял перед монетным двором, и прохожие показывали на него пальцами и кричали: «Гляньте-ка на этого крохотного пригожего папахена! Ему принадлежит все золото, что там чеканят!»

– Полно, – возразил Бальтазар, – полно, друг референдарий, не золотом сильно это чудовище, тут замешано что-то другое. Правда, князь Пафнутий ввел просвещение на благо и на пользу своего народа и своих потомков, но у нас все же еще осталось кое-что чудесное и непостижимое. Я полагаю, что некоторые полезные чудеса сохранились для домашнего обихода. К примеру, из презренных семян все еще вырастают высочайшие, прекраснейшие деревья и даже разнообразнейшие плоды и злаки, коими мы набиваем себе утробу. Ведь дозволено же пестрым цветам и насекомым иметь лепестки и крылья, окрашенные в сверкающие цвета, и даже носить на них диковинные письма, причем ни один человек не угадает, масло ли это, гуашь или акварель, и ни один бедняга каллиграф не сумеет прочесть эти затейливые готические завитушки, не говоря уже о том, чтобы их списать. Эх, референдарий, признаюсь тебе, в моей душе подчас творится нечто странное. Я кладу в сторону трубку и начинаю расхаживать взад и вперед по комнате, и какой-то непонятный голос шепчет мне, что я сам – чудо; волшебник микрокосмос хозяйничает во мне и понуждает меня ко всевозможным сумасбродствам. Но тогда, референдарий, я убегаю прочь, и созерцаю природу, и понимаю все, что говорят мне цветы и ручьи, и меня объемлет небесное блаженство!

– Ты в горячечном бреде! – вскричал Пульхер; но Бальтазар, не обращая на него внимания, простер руки вперед, словно охваченный пламенным томлением.

– Вслушайся, – воскликнул он, – вслушайся только, референдарий, какая небесная музыка заключена в ропоте вечернего ветра, наполняющем сейчас лес! Слышишь ли ты, как родники все громче возносят свою песню? Как кусты и цветы вторят им нежными голосами?

Референдарий насторожился, стараясь расслышать музыку, о которой говорил Бальтазар.

– И впрямь, – сказал он, – и впрямь по лесу несутся прекраснейшие, чудеснейшие звуки, какие только доводилось мне слышать, они глубоко западают в душу. Но это поет не вечерний ветер, не кусты и не цветы, скорее, сдается мне, кто-то вдалеке играет на колокольчиках стеклянной гармоники.

Пульхер был прав. Действительно, полные, все усиливающиеся и приближающиеся аккорды были подобны звукам стеклянной гармоники, но только неслыханной величины и силы, а когда друзья прошли немного дальше, им открылось зрелище столь волшебное, что они оцепенели от изумления и стали как вкопанные.

В небольшом отдалении по лесу медленно ехал человек, одетый почти совсем по-китайски. Только на голове у него был пышный берет с красивым плюмажем. Карета была подобна открытой раковине из сверкающего хрусталя, два больших колеса, казалось, были сделаны из того же вещества. Когда они вращались, возникали дивные звуки стеклянной гармоники, которую друзья слышали издали. Два белоснежных единорога в золотой упряжи везли карету; на месте кучера сидел серебристый китайский фазан, зажав в клюве золотые вожжи. На запятках поместился преогромный золотой жук, который помахивал мерцающими крыльями и, казалось, навевал прохладу на удивительного человека, сидевшего в раковине. Поравнявшись с друзьями, он приветливо им кивнул. В то же мгновение из сверкающего набалдашника, большой трости, что он держал в руке, вырвался луч и упал на Бальтазара, который в тот же миг почувствовал глубоко в груди жгучий укол, содрогнулся, и глухое «ах» слетело с его уст.

Незнакомец взглянул на него, улыбнулся и кивнул еще приветливее, чем в первый раз. Когда волшебная повозка скрылась в глухой чаще и только слышались еще нежные звуки гармоники, Бальтазар, вне себя от блаженства и восторга, бросился к своему другу на шею и воскликнул:

– Референдарий, мы спасены! Вот кто разрушит проклятые чары маленького Циннобера.

– Не знаю, – промолвил Пульхер, – не знаю, что со мною сейчас творится, во сне это все или наяву, но нет сомнения, что какое-то неведомое блаженство наполняет все мое существо и мою душу вновь посетили утешение и надежда.

Глава пятая

Как князь Барсануф завтракал лейпцигскими жаворонками и данцигской золотой водкой, как на его кашемировых панталонах появилось жирное пятно и как он возвел тайного секретаря Циннобера в должность тайного советника по особым делам. – Книжка с картинками доктора Проспера Альпануса. – Как некий привратник укусил за палец студента Фабиана, а тот надел платье со шлейфом и был за то осмеян. – Бегство Бальтазара.

Незачем долее скрывать, что министром иностранных дел, у коего господин Циннобер заступил должность тайного экспедитора, был потомок того самого барона Претекстатуса фон Мондшейна, который тщетно искал родословную феи Розабельверде в хрониках и турнирных книгах. Он, как и его предок, прозывался Претекстатус фон Мондшейн и отличался превосходнейшим образованием и приятнейшими манерами, никогда не путал падежей, писал свое имя французскими буквами, вообще почерк имел разборчивый и даже подчас сам занимался делами, особливо в дурную погоду. Князь Барсануф, один из преемников великого Пафнутия, нежно любил своего министра, ибо у него на всякий вопрос был наготове ответ; в часы, назначенные для отдохновения, он играл с князем в кегли, знал толк в денежных операциях и бесподобно танцевал гавот.

Однажды случилось, что барон Претекстатус фон Мондшейн пригласил князя к себе на завтрак отведать лейпцигских жаворонков и выпить стаканчик данцигской золотой водки. Когда князь прибыл в дом Мондшейна, то в передней, среди многих достойных дипломатических персон, находился и маленький Циннобер, который, опершись на свою трость, сверкнул на него глазками и, уж больше не оборачиваясь к нему, засунул в рот жареного жаворонка, которого только что стащил со стола. Едва князь завидел малыша, как милостиво улыбнулся ему и сказал министру:

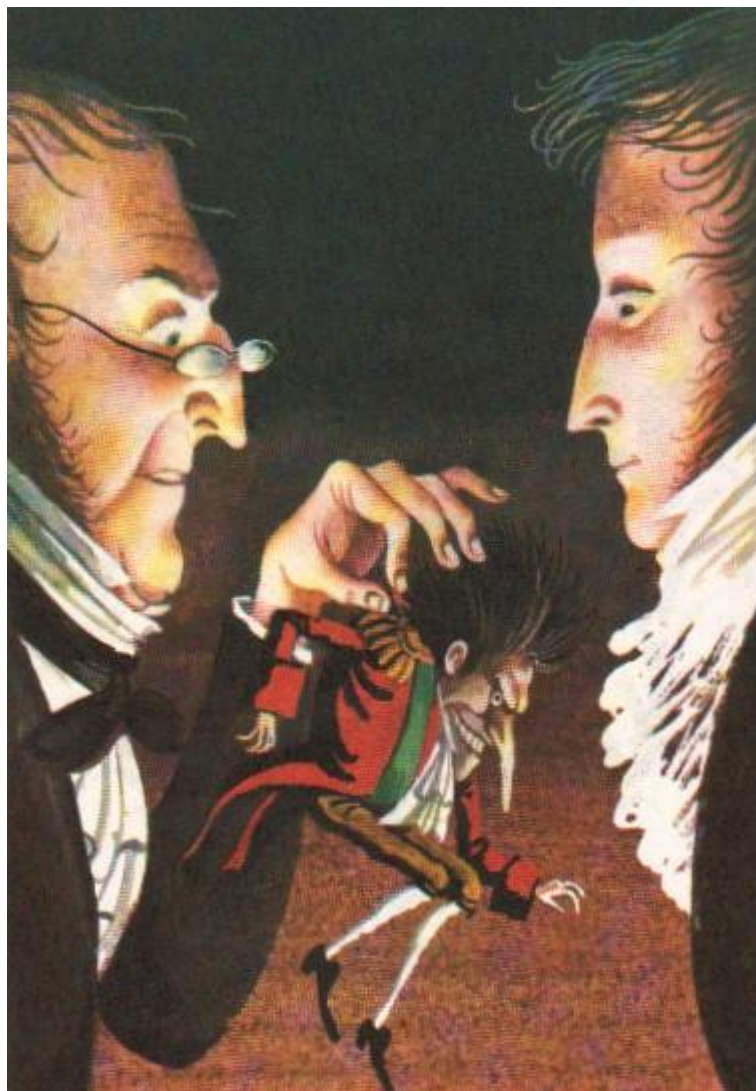
– Мондшейн! Кто этот пригожий и столь толковый человек? Это, верно, тот самый, что столь прекрасным слогом составляет и столь изящным почерком переписывает доклады, которые я с некоторого времени стал от вас получать?

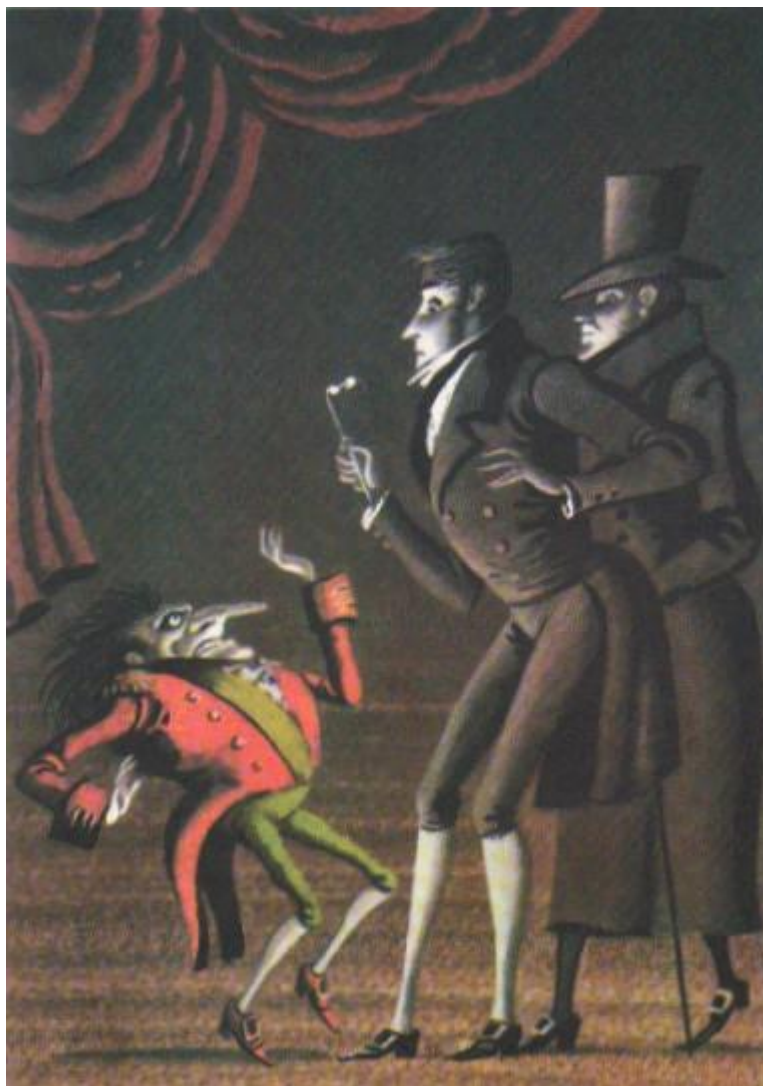
– Конечно, благосклонный государь, – отвечал Мондшейн. – Судьба даровала мне умнейшего и искуснейшего чиновника в моей канцелярии. Его зовут Циннобер, и я наилучшим образом рекомендую этого прекрасного молодого человека вашей милости и благоволению, мой дорогой князь. Он у меня всего несколько дней.

– А потому-то, – сказал красивый молодой человек, приблизившись к ним, – а потому-то, если ваша светлость позволите мне заметить, мой маленький коллега не отправил еще ни одной бумаги. Донесения, коим выпало счастье быть благосклонно замеченными вами, светлейший князь, составлены мной.

– Что вам надо? – гневно обратился к нему князь.

Циннобер тем временем вплотную придвинулся к князю и, с аппетитом уплетая жаворонка, чавкал от жадности. Молодой человек, обратившийся к князю, действительно писал помянутые доклады, но...





– Что вам надобно? – вскричал князь. – Вы, надо полагать, и пера в руках не держали? И то, что вы возле меня едите жареных жаворонков, так что я, к величайшей моей досаде, уже примечаю жирное пятно на моих новых кашемировых панталонах, и притом вы так непристойно чавкаете, – да все это достаточно показывает вашу совершеннейшую неспособность к дипломатическому поприщу. Ступайте-ка подобру-поздорову домой и не показывайтесь мне больше на глаза, разве только достанете для моих кашемировых панталон надежное средство от пятен. Быть может, тогда я верну вам свою благосклонность. – Обратившись к Цинноберу, князь добавил: – Юноши, подобные вам, дорогой Циннобер, суть украшение отечества и заслуживают, чтоб их отличали. Вы – тайный советник по особым делам, мой любезный.

– Покорнейше благодарю, – просипел в ответ Циннобер, проглотив последний кусок и вытирая рот обеими ручонками, – покорнейше благодарю, уж я-то с этим делом справлюсь как подобает.

– Бодрая самоуверенность, – сказал князь, возвышая голос, – бодрая самоуверенность проистекает от внутренней силы, коей должен обладать достойный государственный муж. – Изрекши сию сентенцию, князь выпил собственноручно поднесенный ему министром стаканчик данцигской золотой водки и нашел ее превосходной. Новый советник должен был сесть между князем и министром. Он поедал неимоверное множество жаворонков и пил вперемешку малагу и золотую водку, сипел и бормотал что-то сквозь зубы, и так как его острый нос едва доставал края стола, то ему приходилось отчаянно работать руками и ногами.

Когда завтрак был окончен, князь и министр воскликнули в один голос:

– У нашего тайного советника английские манеры!

– У тебя, – сказал Фабиан другу своему Бальтазару, – у тебя такой радостный вид, твои глаза светятся каким-то особенным огнем. Ты счастлив? Ах, Бальтазар, быть может, тебе

пригрезился дивный сон, но я принужден пробудить тебя, это долг друга.

– Что такое? Что случилось? – спросил, оторопев, Бальтазар.

– Да, – продолжал Фабиан, – да! Я должен открыть тебе все! Мужайся, мой друг! Подумай о том, что, быть может, нет на свете несчастья, которое не поражало бы так больно и не забывалось бы так легко! Кандида!..

– Ради бога! – вскричал в ужасе Бальтазар. – Кандида! Что с Кандидой? Ее уже нет на свете? Она умерла?

– Успокойся, – продолжал Фабиан, – успокойся, мой друг. Кандида не умерла, но для тебя все равно что умерла. Знай же, что малыш Циннобер стал тайным советником по особым делам и, как уверяют, почти что помолвлен с прекрасной Кандидой, которая, бог весть с чего, без памяти в него влюбилась.

Фабиан полагал, что Бальтазар разразится неистовыми, полными отчаяния жалобами и проклятиями. Но вместо того он сказал со спокойной улыбкой:

– Если все дело только в этом, то тут еще нет несчастья, которое могло бы меня опечалить.

– Так ты больше не любишь Кандиду? – в изумлении воскликнул Фабиан.

– Я люблю, – отвечал Бальтазар, – я люблю этого ангела, эту дивную девушку со всей мечтательностью, со всей страстью, какая только может воспламенить юношескую грудь. О, я знаю – ах! – я знаю, что Кандида тоже любит меня и только проклятые чары пленили ее, но скоро я порву эти колдовские путы, скоро я истреблю злодея, который ослепил бедняжку.

Тут Бальтазар поведал другу о повстречавшемся ему удивительном человеке, ехавшем по лесу в весьма странной повозке. И в заключение он сказал, что, как только из волшебного набалдашника сверкнул луч и коснулся его груди, в нем зародилась твердая уверенность; что Циннобер не кто иной, как ведьмёныш, чью силу сокрушит этот незнакомец.

– Позволь, Бальтазар, – вскричал Фабиан, когда его друг кончил, – позволь, как это мог тебе прийти в голову такой диковинный вздор? Незнакомец, которого ты считаешь волшебником, ведь не кто иной, как доктор Проспер Альпанус, жительствующий в своем загородном доме неподалеку от Керепеса. Правда, о нем ходят удивительнейшие слухи, так что его можно принять чуть ли не за второго Калиостро; но в этом повинен сам доктор. Он любит окружать себя мистическим мраком, напускать на себя вид человека, который посвящен в сокровеннейшие тайны природы и повелевает неведомыми силами, и вдобавок ему свойственны весьма затейливые причуды. Например, его повозка устроена так, что человек, наделенный живой и пылкой фантазией, – подобно тебе, мой друг, – вполне может принять все это за явление из какой-нибудь сумасбродной сказки. Послушай только! Его кабриолет имеет форму раковины и весь посеребрен, а между колесами помещен органчик, который при вращении оси играет сам собой. Тот, кого ты принял за серебристого фазана, несомненно был его маленький жокей, одетый во все белое, а раскрытый зонтик показался тебе крыльями золотого жука. Он велит прикреплять на головы своих белых лошадей большие рога, чтобы они приобрели вид подлинно сказочный. Впрочем, у доктора Альпануса и вправду есть красивая испанская трость с дивно искрящимся кристаллом, прикрепленным сверху, подобно набалдашнику, об удивительном действии коего рассказывают или, вернее, сочиняют немало всяких небылиц. Луч, исходящий из этого кристалла, будто бы невыносим для глаз. А когда доктор обернет его прозрачным покрывалом, то, пристально взглядевшись, увидишь в нем, как в вогнутом зеркале, ту особу, чей облик носишь в глубине души...

– В самом деле, – перебил Бальтазар своего друга. – Неужто так говорят? Ну, а что еще рассказывают о господине докторе Проспере Альпанусе?

– Ах, – отвечал Фабиан, – не требуй, чтобы я подробно пересказывал тебе все эти дурацкие побасенки и бредни. Ты ведь знаешь, что и посейчас еще есть сумасброды, которые, наперекор здравому смыслу, верят во все так называемые чудеса вздорных нянюшкиных сказок.

– Признаюсь, – сказал Бальтазар, – что я сам принужден пристать к этим сумасбродам, лишенным здравого смысла. Посеребренное дерево – это вовсе не сверкающий прозрачный хрусталь, а органчик звучит не как стеклянная гармоника, серебристый фазан – не жокей, а зонтик – не золотой жук. Или диковинный человек, которого я повстречал, не доктор Проспер

Альпанус, о ком ты говоришь, или доктор и впрямь посвящен в сокровеннейшие тайны.

– Дабы совсем, – сказал Фабиан, – дабы совсем исцелить тебя от странных твоих грез, нет ничего лучше, как прямехонько свести тебя к доктору Альпанусу. Тогда ты воочию убедишься, что доктор Проспер Альпанус – обыкновеннейший лекарь и уж никоим образом не выезжает на прогулку на единорогах, с серебристыми фазанами и золотыми жуками.

– Ты высказал, – воскликнул Бальтазар, у которого засверкали глаза от радости, – ты высказал, мой друг, сокровеннейшее желание моей души. Давай немедля двинемся в путь.

Вскоре они уже стояли перед запертыми решетчатыми воротами парка, посреди которого расположился дом доктора Альпануса.

– Как же нам войти? – спросил Фабиан.

– Я полагаю, надо постучать, – ответил Бальтазар и взялся за металлическую колотушку, висевшую у самого замка.

Едва только он поднял колотушку, как под землей послышался какой-то рокот, похожий на дальний гром, который замер в бездонной глубине. Решетчатые ворота неторопливо повернулись на петлях, друзья вошли и направились по длинной широкой аллее, в конце которой они завидели сельский домик.

– Что ж, – спросил Фабиан, – замечаешь ли ты здесь что-нибудь необыкновенное, волшебное?

– Думается мне, – возразил Бальтазар, – что способ, каким отворились ворота, не так уж обычен, и потом, не знаю отчего, но здесь мне все кажется таким волшебным, таким магическим. Разве где-нибудь в окрестностях можно встретить столь дивные деревья, как в этом парке? И даже мнится, что иные деревья, иные кусты перенесены сюда из дальних, неведомых стран, – у них сверкающие стволы и смарагдовые листья.

Фабиан завидел двух необычайной величины лягушек, которые уже от самых ворот скакали следом за путниками по обеим сторонам аллеи.

– Нечего сказать, прекрасный парк, – вскричал Фабиан, – где водятся такие гады! – и нагнулся, чтобы поднять камешек, намереваясь метнуть им в этих веселых лягушек. Обе отпрыгнули в кусты и уставились на него блестящими человеческими глазами. – Погодите же, погодите! – закричал Фабиан, нацелился в одну из них и пустил камень.

– Невежа! С чего это он швыряет камнями в честных людей, которые в поте лица своего трудятся в саду ради хлеба насущного, – заквакала прегадкая маленькая старушонка, сидевшая у дороги.

– Идем, идем! – в ужасе забормотал Бальтазар, отлично видевший, как лягушка превратилась в старуху. Глянув в кусты, он убедился, что и другая лягушка стала маленьким старикашкой, который теперь усердно полел траву.

Перед домом расстилалась прекрасная большая лужайка, на которой паслись оба единорога; в воздухе лились дивные аккорды.

– Видишь ли ты? Слышишь ли ты? – спросил Бальтазар.

– Я ничего не вижу, – отвечал Фабиан, – кроме двух маленьких пони, которые щиплют траву, а в воздухе, надо полагать, слышатся звуки развешанных где-нибудь эоловых арф.

Простая благородная архитектура одноэтажного сельского домика, соразмерного в своих пропорциях, восхитила Бальтазара. Он потянул за шнурок звонка; дверь тотчас растворилась, и друзей в качестве привратника встретила высокая, похожая на страуса золотисто-желтая птица.

– Ты погляди, – обратился Фабиан к Бальтазару, – ты погляди только, какая дурацкая ливрея! Ежели захочешь дать этому парню на водку, то где же у него руки, чтобы сунуть монету в жилетный карман?

Он повернулся к страусу, ухватил его за блестящие мягкие перья, распустившиеся на шее под клювом подобно пышному жабо, и сказал:

– Доложи о нас, дражайший приятель, господину доктору.

Но страус ничего, кроме «квиррр», не ответил и клюнул Фабиана в палец.

– Тьфу, черт! – вскричал Фабиан. – А паренек-то, пожалуй, и впрямь проклятая птица!

Тут отворилась дверь во внутренние покои, и сам доктор вышел навстречу друзьям: низенький, худенький, бледный человек! Маленькая бархатная шапочка покрывала его голову, красивые волосы струились длинными прядями. Длинный индийский хитон цвета охры и

маленькие красные сапожки со шнурами, отороченные – трудно было разобрать чем: то ли пестрым мехом, то ли блестящим пухом какой-то птицы, – составляли его одеяние. Лицо отражало само спокойствие, само благоволение, только казалось странным, что когда станешь совсем близко и начнешь попристальнее в него вглядываться, то из этого лица, как из стеклянного футляра, словно выглядывало еще другое маленькое личико.

– Я увидел, – приветливо улыбаясь, заговорил тихим и несколько протяжным голосом Проспер Альпанус, – я увидел вас, господа, из окна. Правда, я и раньше знал, по крайней мере касательно вас, дорогой господин Бальтазар, что вы посетите меня. Прошу пожаловать за мной.

Проспер Альпанус провел их в высокую круглую комнату, всю затянутую небесно-голубыми занавесями. Свет проникал сверху через устроенное в куполе окно и падал прямо на стоящий посередине гладко отполированный мраморный стол, поддерживаемый сфинксом. Кроме этого, в комнате нельзя было приметить ничего необыкновенного.

– Чем могу служить? – спросил Проспер Альпанус.

Бальтазар, собравшись с духом, рассказал все, что случилось с маленьким Циннобером, начиная с его первого появления в Керепесе, и заключил с непоколебимой убежденностью, что Проспер Альпанус явится тем благодетельным магом, который положит конец негодному и мерзкому колдовству Циннобера.

Проспер Альпанус, погружившись в глубокое раздумье, безмолвствовал. Наконец, по прошествии нескольких минут, он с серьезным видом и понизив голос заговорил:

– Судя по всему, что вы мне рассказали, Бальтазар, не подлежит сомнению, что в деле с маленьким Циннобером есть какое-то таинственное обстоятельство. Однако нужно знать врага, которого предстоит одолеть, знать причину, действие коей намереваешься разрушить. Можно предположить, что маленький Циннобер не кто иной, как альраун. Это мы сейчас узнаем.

С этими словами Проспер Альпанус потянул за один из шелковых шнурков, спускавшихся с потолка. Одна из занавесей с шумом распахнулась, и взору открылось множество преогромных фолиантов, сплошь в золоченых переплетах; изящная, воздушно легкая лесенка из кедрового дерева скатилась вниз. Проспер Альпанус поднялся по этой лесенке, достал с самой верхней полки фолиант и, заботливо смахнув с него пыль большой метелкой из блестящих павлиньих перьев, положил на мраморный стол.

– Этот трактат, – сказал он – посвящен альраунам, которые все тут изображены; быть может, вы найдете среди них и враждебного вам Циннобера, и тогда он в наших руках.

Когда Проспер Альпанус раскрыл книгу, друзья увидели множество тщательно раскрашенных гравюр, представлявших наидиковеннейших преуродливых человечков с глупейшими харями, какие только можно себе вообразить. Но едва только Проспер прикоснулся к одному из этих человечков, изображенных на бумаге, как он ожил, выпрыгнул из листа на мраморный стол и начал преуморительно скакать и прыгать, прищелкивая пальчиками, выделявая кривыми ножками великолепнейшие пируэты и антраша и чирикавая: «Квирир-квапп, пирр-папп», – пока Проспер не схватил его за голову и не положил в книгу, где он тотчас сплющился и разгладился в пеструю картинку.

Таким способом пересмотрели в книге все изображения, и Бальтазар не раз готов был воскликнуть: «Вот он, вот Циннобер!» Но, всмотревшись хорошенько, принужден был, к своему огорчению, заметить, что человечек вовсе не Циннобер.

– Все же довольно странно, – сказал Проспер Альпанус, просмотрев книгу до конца. – Однако, – продолжал он, – быть может, Циннобер гном? Посмотрим.

И он с редким проворством снова взобрался по кедровой лесенке и достал другой фолиант, бережно смахнул с него пыль и положил на мраморный стол, объявив:

– Этот трактат посвящен гномам; быть может, мы изловим Циннобера в этой книге.

Друзья вновь увидели множество тщательно раскрашенных гравюр, которые представляли отвратительное сборище безобразных коричнево-желтых чудовищ. И когда Проспер Альпанус прикасался к ним, они подымали плаксивые жалобные вопли и под конец тяжело выползали из листа и, ворча и крича, копошились на мраморном столе, пока доктор не втискивал их назад в книгу.

Но и среди них не нашел Бальтазар Циннобера.

– Странно, весьма странно, – сказал доктор и погрузился в безмолвное раздумье.

– Королем жуков, – продолжал он некоторое время спустя, – королем жуков он не может быть, ибо тот, как мне доподлинно известно, как раз теперь занят в другом месте; маршалом пауков тоже нет, ибо маршал пауков, хотя и безобразен, но разумен и искусен, живет трудами рук своих и не приписывает себе чужие заслуги. Странно, очень странно!

Он опять помолчал, так что стали явственно доноситься различные диковинные голоса: то отдельные звуки, то мощные нарастающие аккорды, раздававшиеся вокруг.

– У вас тут отовсюду слышится премилая музыка, любезный господин доктор, – сказал Фабиан.

Проспер Альпанус, казалось, вовсе не замечал Фабиана, его взор был устремлен на одного Бальтазара, он простер к нему руки и слегка шевелил пальцами, словно кропил его незримой влагой.

Наконец доктор схватил Бальтазара за обе руки и сказал с приветливой серьезностью:

– Только чистейшее созвучие психического начала по закону дуализма благоприятствует операции, которую я сейчас предприму. Следуйте за мной!

Друзья прошли вслед за доктором несколько комнат, где, если не считать нескольких диковинных зверей, упражнявшихся в чтении, письме, живописи и танцах, ничего примечательного не было, пока наконец не распахнулись двустворчатые двери, и друзья остановились перед плотным занавесом, за которым исчез Проспер Альпанус, оставив их в совершенной темноте. Занавес, шурша, раздвинулся, и друзья очутились в овальной зале, где был рассеян магический полусвет. Глядя на стены, казалось, что взор теряется в необозримых зеленых рощах и в цветочных долах с журчащими ручьями и родниками. Таинственный аромат неведомых курений колыхался в комнате и, казалось, разносил сладостные звуки стеклянной гармоник. Проспер Альпанус явился одетый во все белое, подобно брамину, и водрузил посреди залы большое круглое хрустальное зеркало, на которое набросил покрывало.

– Приблизьтесь, – сказал он торжественно и глухо, – приблизьтесь к этому зеркалу, Бальтазар, устремите неотступно все ваши мысли к Кандиде, всей душой желайте, чтобы она предстала вам в это мгновение, которое протекает сейчас в пространстве и времени.

Бальтазар поступил так, как ему было велено, а Проспер Альпанус, став позади него, обеими руками описывал большие круги.

Спустя несколько секунд из зеркала заструился голубоватый дым. Кандида, прекрасная Кандида явилась во всей прелести своего облика, во всей полноте жизни. Но рядом с ней, совсем подле нее, сидел мерзкий Циннобер и пожимал ее руки, и целовал ее. И Кандида одной рукой обнимала чудовище и ласкала его. Бальтазар готов был вскрикнуть, но Проспер Альпанус крепко схватил его за плечи, и крик замер у него в груди.

– Спокойней, – тихо сказал Проспер, – спокойней, Бальтазар. Возьмите эту трость и поколотите малыша, только не трогайтесь с места.

Бальтазар так и сделал и к удовольствию своему увидел, как малыш скорчился, свалился со стула и стал кататься по земле. В ярости Бальтазар бросился вперед, но видение растеклось в тумане и в дыме, а Проспер Альпанус с силой отдернул взбешенного Бальтазара, громко крикнув:

– Стойте! Ежели вы разобьете магическое зеркало – мы все пропали! Выйдем на свет!

Друзья, повинувшись приказанию доктора, покинули залу и вошли в соседнюю светлую комнату.

– Благодарение небу, – вскричал Фабиан, глубоко переводя дух, – благодарение небу, что мы выбрались из этой проклятой залы! Духота теснила мне сердце, и к тому же еще эти кунштюки, которые мне столь ненавистны.

Бальтазар собирался возразить, но тут вошел Проспер Альпанус.

– Теперь, – сказал он, – теперь нет сомнения, что уродливый Циннобер не альраун и не гном, а обыкновенный человек. Но тут замешана какая-то таинственная, колдовская сила, открыть которую мне покамест не удалось, и оттого я еще не могу помочь вам. Посетите меня вскорости, Бальтазар, тогда посмотрим, что надлежит предпринять. До свиданья!

– Итак, – сказал Фабиан, надвигаясь на доктора, – итак, вы волшебник, господин доктор, а не способны при всем вашем магическом искусстве отделать этого маленького, прежалкого Циннобера? Так знайте ж, что я считаю вас, со всеми вашими пестрыми картинками,

куколками, магическими зеркалами, со всем вашим фиглярским товаром, самым доподлинным шарлатаном. Бальтазар влюблен и кропает стихи, его вы можете уверить во всяком вздоре, но со мной у вас ничего не выйдет. Я – человек просвещенный и не допускаю никаких чудес!

– Думайте что вам угодно, – возразил Проспер Альпанус, рассмеявшись громче и веселей, чем можно было от него ожидать. – Но хоть я и не совсем волшебник, все же владею некоторыми прекрасными кунштюками.

– Из Виглебовой «Магии» или из какой другой? – вскричал Фабиан. – Ну, тут вам далеко до нашего профессора Моша Терпина, и вам даже нельзя с ним равняться, ибо он честный человек и всегда показывает нам, что все совершается естественным образом, и он вовсе не окружает себя таким таинственным скарбом, как вы, господин доктор. Ну, честь имею кланяться.

– Эге, – сказал доктор, – неужто вы расстанетесь со мной в таком гневе?

И с этими словами он несколько раз тихо погладил обе руки Фабиана, от плеча до кисти, так что тому стало как-то не по себе, и он в душевном стеснении воскликнул:

– Что это вы там делаете, господин доктор?

– Ступайте-ка, господа, – сказал доктор. – Вас, господин Бальтазар, я надеюсь вскорости опять увидеть. Помощь не замедлит прийти!

– На водку ты все же не получишь, приятель! – крикнул, уходя, Фабиан золотисто-желтому привратнику и потряс его за жабо. Но привратник опять ничего не ответил, кроме как «квирр», и снова клюнул Фабиана в палец.

– Вот тварь! – вскричал Фабиан и бросился бежать.

Обе лягушки не преминули учтиво проводить обоих друзей до решетчатых ворот, которые с глумим рокотом растворились и затворились.

– Я не знаю, – сказал Бальтазар, бредя по проезжей дороге позади Фабиана, – я не знаю, брат, что это тебе сегодня вздумалось надеть такой нелепый сюртук с такими невероятно длинными полами и такими куцыми рукавами.

Фабиан, к своему удивлению, заметил, что его коротенький сюртучок вытянулся сзади до самой земли, а рукава, прежде достаточно длинные, собрались сборками у локтей.

– Тысяча чертей, да что же это такое? – вскричал он и стал оттягивать и обдергивать рукава и расправлять плечи. Сперва это как будто помогло, но едва только друзья прошли городские ворота, как рукава опять полезли кверху сборками, а полы стали расти, так что вскоре, невзирая на все оттягивания, обдергивания и пошевеливания, рукава собрались у самых плеч, выставляя напоказ голые руки Фабиана, а сзади волочился шлейф, который все более и более удлинялся. Все встречные останавливались и хохотали во всю глотку, уличные мальчишки с восторженным воем и ликованием толпами бежали за Фабианом, хватили и рвали его длинное облачение, так что Фабиан летел кувырком, а когда он вновь поднимался на ноги, то шлейф отнюдь не убывал, нет, – он делался все длиннее. И все бешеной и неистовой становился смех, ликование и крики, пока наконец Фабиан, едва не обезумев, кинулся опретью в распахнутую дверь какого-то дома. Шлейф тотчас же исчез.

У Бальтазара не было времени особенно удивляться странному околдовыванию Фабиана, ибо референдарий Пульхер поймал его, затащил в безлюдный переулок и сказал:

– Да разве мыслимо, что ты еще здесь, что еще показываешься па людях, когда тебя уже разыскивает педель с приказом об аресте!

– Что такое? О чем ты говоришь? – спросил в изумлении Бальтазар.

– Так далеко, – продолжал референдарий, – так далеко увлекло тебя безумие ревности, что ты, нарушив неприкосновенность жилища, с враждебными намерениями ворвался в дом Моша Терпина, напал на Циннобера в присутствии его невесты и до полусмерти избил уродливого малыша.

– Помилуй, – вскричал Бальтазар, – да ведь я целый день не был в Керенесе! Какая постыдная ложь!

– Тише, тише, – перебил его Пульхер, – дурацкая и безрассудная выдумка Фабиана надеть платье со шлейфом спасет тебя. Теперь никто не обратит на тебя внимания! Скройся только от постыдного ареста, а уж остальное мы уладим. Тебе нельзя возвращаться домой. Дай мне ключ, я перешлю тебе все, что нужно. Скорей в Хох-Якобсхейм!

И, сказав это, референдарий потащил за собой Бальтазара глухими переулками за городские ворота, к деревне Хох-Якобсхейм, где прославленный ученый Птоломей Филадельфус писал достопримечательную книгу о неизвестном народе – студентах.

Глава шестая

Как Циннобер, тайный советник по особым делам, причесывался в своем саду и принимал росяную ванну. – Орден Зелено-пятнистого тигра. – Счастливая выдумка театрального портного. – Как фрейлейн фон Розеншен облилась кофе, а Проспер Альпанус уверял ее в своей дружбе.

Профессор Мош Терпин утопал в блаженстве.

– Могло ли, – говорил он сам себе, – могло ли мне выпасть большее счастье, чем случай, приведший в мой дом достойнейшего тайного советника по особым делам еще студентом? Он женится на моей дочери, он станет моим зятем, через него я войду в милость к нашему славному князю Барсануфу и буду подниматься по лестнице, по которой взбирается мой превосходный крошка Циннобер. По правде, мне самому частенько непонятно, как это моя девочка, Кандида, без памяти влюбилась в малыша. Обыкновенно женщины обращают больше внимания на красивую внешность, нежели на редкие способности души, а я, часом, как погляжу на этого малыша по особым делам, то мне сдается, что его нельзя назвать слишком красивым, он даже – *bossu*,³ но тише, тш-тш, – и у стен есть уши. Он любимец князя, он пойдет в гору, все выше и выше, и он – мой зять.

Мош Терпин был прав. Кандида обнаруживала решительную склонность к малышу, и когда иной раз кто-нибудь, не подпавший действию диковинных чар Циннобера, давал понять, что тайный советник по особым делам всего-навсего зловредный урод, она тотчас принималась говорить о дивных, прекрасных волосах, которыми его наделила природа.

Никто при таких речах Кандиды не улыбался так коварно, как референдарий Пульхер.

³ Горбатый (фр.)





Он ходил по пятам за Циннобером, а верным помощником ему был тайный секретарь Адриан, тот самый молодой человек, которого чары Циннобера едва не изгнали из канцелярии министра. Ему удалось вновь приобрести расположение князя, только раздобыв отличное средство для выведения пятен.

Тайный советник по особым делам Циннобер обитал в прекрасном доме с еще более прекрасным садом, посреди которого находилась закрытая со всех сторон густым кустарником полянка, где цвели великолепные розы. Было замечено, что через каждые девять дней Циннобер тихонько встает на рассвете, одевается сам, как это ему ни трудно, без помощи слуг, спускается в сад и исчезает в кустах, скрывающих полянку.

Пульхер и Адриан, подозревая тут какую-то тайну и выведав у камердинера, что прошло девять дней с тех пор, как Циннобер посетил помянутую полянку, отважились перелезть ночью через садовую ограду и укрыться в кустах.

Едва занялось утро, как они завидели малыша, который приближался к ним, чихая и фыркая; когда он проходил куртины, росистые стебли и ветви хлестали его по носу

Когда он пришел на розовую полянку, то по кустарникам пронеслось сладостное дуновение и розы заблагоухали еще сильнее. Прекрасная, закутанная в покрывало женщина с крыльями за спиной слетела вниз, присела на резной стул, стоявший посреди розовых кустов, и, тихо приговаривая: «Поди сюда, дитя мое», – привлекла к себе маленького Циннобера и принялась золотым гребнем расчесывать его длинные, спадавшие на спину волосы. По-видимому, это было малышу весьма по сердцу, потому что он жмурился, вытягивая ножки, ворчал и мурлыкал, словно кот. Это продолжалось добрых пять минут, после чего волшебница провела пальцем по темени малыша, и оба, Пульхер и Адриан, заметили на голове Циннобера сверкающую узкую огненную полоску. Женщина наконец сказала:

– Прощай, милое дитя мое! Будь разумен, будь разумен, насколько сможешь.

Малыш отвечал:

– Adieu, матушка, разума у меня довольно, тебе не нужно повторять мне это так часто.

Незнакомка медленно поднялась и исчезла в воздухе.

Пульхер и Адриан оцепенели от изумления. Но едва Циннобер собрался удалиться, реферндарий выскочил из кустов и громко закричал:

– С добрым утром, господин тайный советник по особым делам! Э! Да как славно вы причесаны!

Циннобер оглянулся и, увидев реферндария, бросился было бежать. Но, по неуклюжести своей и природной слабости ног, он споткнулся и упал в высокую траву, так что стебли сомкнулись над ним и он очутился в росяной ванне. Пульхер подскочил к малышу и помог ему стать на ноги, но Циннобер загнусавил:

– Сударь, как попали вы в мой сад? Проваливайте ко всем чертям! – Тут он запрыгал и бросился опрометью домой.

Пульхер написал Бальтазару об этом удивительном происшествии и обещал ему усугубить наблюдение за маленьким колдовским отродьем. Казалось, Циннобер был безутешен от того, что с ним приключилось. Он велел уложить себя в постель и так стонал и охал, что весть о его внезапном недуге скоро дошла до министра Мондшейна, а затем и до князя Барсануфа.

Князь Барсануф тотчас послал к маленькому любимцу своего лейб-медика.

– Достоянейший господин тайный советник, – сказал лейб-медик, пощупав пульс, – вы жертвуете собой для отечества. Усердные труды уложили вас в постель, беспрестанное напряжение ума послужило причиной несказанных ваших страданий, кои вы принуждены претерпевать. Вы весьма бледны и совсем осунулись, однако ваша бесценная голова так и пылает! Ай-ай! Только не воспаление мозга! Неужто это вызвано неустанным попечением о благе государства? Едва ли это возможно! Но, позвольте!

Лейб-медик, должно быть, заметил на голове Циннобера ту самую красную полоску, которую открыли Пульхер и Адриан. И он, производя в отдалении несколько магнетических пассов и со всех сторон подув на больного, который при этом весьма явственно мяукал и пронзительно пищал, хотел провести рукой по голове и ненароком коснулся красной полоски. Но тут Циннобер, вскипев от ярости, подскочил и маленькой костлявой ручонкой вlepил лейб-медику, который как раз в это время наклонился над ним, такую оплеуху, что отдалось по всей комнате.

– Что вам надобно, – вскричал Циннобер, – что вам от меня надобно, чего ради вы ерошите мои волосы? Я совсем но болен, я здоров, я тотчас встану и поеду к министру на совещание, проваливайте!

Лейб-медик в страхе поспешил прочь. Но когда он рассказывал князю Барсануфу, как с ним обошлись, то последний в восторге воскликнул:

– Какое усердие в служении государству! Какое достоинство, какое величие в поступках! Что за человек этот Циннобер!

– Мой любезнейший господин тайный советник, – обратился к Цинноберу министр Претекстатус фон Мондшейн, – как прекрасно, что вы, невзирая на вашу болезнь, прибыли на конференцию. Я составил мемориал по важнейшему делу с какатукским двором, – составил сам и прошу вас доложить его князю, ибо ваше вдохновенное чтение возвысит целое, автором коего меня тогда признает князь!

Мемориал, которым хотел блеснуть Претекстатус, составлен был не кем иным, как Адрианом.

Министр отправился вместе с малышом к князю. Циннобер вытащил из кармана мемориал, врученный ему министром, и принялся читать. Но так как из его чтения ровно ничего не получалось и он нес чистейшую околесицу, ворчал и урчал, то министр взял у него из рук бумагу и стал читать сам.

Князь, видимо, был в совершенном восхищении, он дозволил заметить свое одобрение, беспрестанно восклицая:

– Прекрасно! Изрядно сказано! Великолепно! Превосходно!

Как только министр кончил, князь подошел прямо к Цинноберу, поднял его, прижал к

груди, как раз к тому месту, где у него, то есть у князя, красовалась большая звезда Зелено-пятнистого тигра, и, заикаясь и всхлипывая, воскликнул:

– Нет, какой человек! Какой талант! Какое усердие! Какая любовь! Это просто невероятно, невероятно! – И слезы градом сыпались из его глаз. Потом сдержаннее: – Циннобер! Я назначаю вас своим министром! Пребывайте верным и преданным отечеству, пребывайте доблестным слугой Барсануфа, который будет вас ценить, будет вас любить!

И затем, нахмурившись, обратился к министру:

– Я примечаю, любезный барон фон Мондшейн, что с некоторых пор ваши силы иссякают. Отдых в ваших имениях будет вам благотворен! Прощайте!

Министр фон Мондшейн удалился, бормоча сквозь зубы нечто невнятное и бросая яростные взгляды на Циннобера, который, по своему обыкновению, подперся тросточкой, привстал на цыпочки и с горделивым и дерзким видом озирался по сторонам.

– Я должен, – сказал князь, – я должен отличить вас, дорогой мой Циннобер, как то подобает по вашим высоким заслугам. Посему примите из моих рук орден Зелено-пятнистого тигра!

И князь хотел надеть ему орденскую ленту, повелев камердинеру со всей поспешностью принести ее; но уродливое сложение Циннобера послужило причиной того, что лента никак не могла удержаться на положенном месте, – она то непозволительно задиралась кверху, то столь же непристойно съезжала вниз.

В этом, равно как и во всех других делах, касающихся подлинного благополучия государства, князь был весьма щепетилен. Орден Зелено-пятнистого тигра надлежало носить на ленте в косом направлении между бедренной костью и копчиком, на три шестнадцатых дюйма выше последнего. Вот этого-то и не могли добиться. Камердинер, три пажа, сам князь немало потрудились над этим; но все их старания были напрасны. Предательская лента скользила во все стороны, и Циннобер стал сердито квакать:

– Чего это вы так несносно тормозите меня? Пусть эта дурацкая штукавина болтается как угодно! Я теперь – министр и им останусь!

– Для чего же, – сказал в гневе князь, – для чего же учрежден у меня капитул орденов, когда в расположении лент существуют столь глупые статуты, противные моей воле. Терпение, мой любезный министр Циннобер, скоро все будет иначе!

Дабы измыслить, каким искусным способом приладить к министру Цинноберу ленту Зелено-пятнистого тигра, пришлось по повелению князя созвать капитул орденов, коему были приданы еще два философа и один заезжий естествоиспытатель, возвращавшийся с Северного полюса. И, дабы они могли собраться с силами для столь важного совещания, всем участникам оно было предписано за неделю до того перестать думать; а чтобы могли они то произвести с большим успехом, не оставляя трудов на пользу государства, им надлежало упражняться в счете. Улицы перед дворцом, где должны были заседать члены капитула орденов, философы и естествоиспытатель, были густо застланы соломой, дабы стук колес не помешал мудрецам; по той же причине возбранялось бить в барабаны, производить музыку и даже громко разговаривать вблизи дворца. В самом же дворце все ходили в толстых войлочных туфлях и объяснялись знаками.

Семь дней напролет, с раннего утра до позднего вечера, длились совещания, но все еще нельзя было и помышлять о каком-нибудь решении.

Князь в совершенном нетерпении то и дело посылал передать им, что должны же они, черт подери, наконец измыслить что-нибудь путное. Но это нисколько не помогало.

Естествоиспытатель исследовал, насколько было возможно, сложение Циннобера, измерил высоту и ширину его горба и представил капитулу точнейшие на сей счет вычисления. Он-то и предложил наконец призвать на совещание театрального портного.

Как ни странно было это предложение, его приняли единогласно, – в таком все находилось беспокойстве и страхе.

Театральный портной, господин Кеэс, был человек чрезвычайно пронырливый и лукавый. Едва только ему изложили, в чем состояло затруднение, едва он поглядел на вычисления естествоиспытателя, как у него уже было под рукой великолепнейшее средство укрепить орденскую ленту на надлежащем месте.

А именно – на груди и на спине нужно нашить известное число пуговиц и к ним пристегивать орденскую ленту. Произведенный опыт удался на славу.

Князь был в восхищении и одобрил предложение капитула отныне учредить для ордена Зелено-пятнистого тигра несколько различных степеней – по числу пуговиц, с которыми его жалуют. Например, орден Зелено-пятнистого тигра с двумя пуговицами, с тремя пуговицами и так далее. В виде особого отличия, какого никто другой не смел домогаться, министр Циннобер получил орден с двадцатью алмазными пуговицами, ибо как раз двадцать пуговиц потребовало его удивительное телосложение.

Портной Кеэс получил орден Зелено-пятнистого тигра с двумя золотыми пуговицами, и так как сам князь, несмотря на помянутую счастливую выдумку, считал его плохим портным и потому не хотел у него одеваться, то он был пожалован чином действительного тайного обер-костюмера князя.

Доктор Проспер Альпанус задумчиво глядел из окна своего сельского дома в парк. Всю ночь напролет он был занят тем, что составлял гороскоп Бальтазара, а при этом разузнал кое-что и относительно маленького Циннобера. Но всего важнее для него было то, что случилось с малышом в саду, когда его подстерегли Пульхер и Адриан. Проспер Альпанус намеревался было кликнуть своих единорогов, чтобы они подали раковину, так как он хотел отправиться в Хох-Якобсхейм, как вдруг загремела карета и остановилась подле решетчатых ворот парка. Доложили, что канонисса фон Розеншен желает поговорить с господином доктором.

– Добро пожаловать! – сказал Проспер Альпанус, и дама вошла.

На ней было длинное черное платье, и она была закутана в покрывало, подобно матроне. Проспер Альпанус, объятый странным предчувствием, взял трость и устремил на незнакомку искрящиеся лучи своего набалдашника. И вот как будто молнии с легким потрескиванием засверкали вокруг дамы, и она явилась в белом прозрачном одеянии, блестящие стрекозьи крылья были у нее за плечами, белые и красные розы заплетены в волосах. «Эге-ге!» – прошептал Проспер, спрятав трость под шлафрок, и тотчас дама предстала в прежнем своем виде.

Проспер Альпанус приветливо пригласил ее сесть. Фрейлейн фон Розеншен сказала, что у нее было давнишнее намерение посетить господина доктора в его сельском доме, дабы приобрести знакомство с человеком, коего вся округа славит как весьма искусного, благодетельного мудреца. Верно, он удовольствуется ее просьбу и согласится как врач наблюдать за расположенным неподалеку приютом для благородных девиц, ибо старые дамы частенько прихварывают и не получают никакой помощи. Проспер Альпанус учтиво ответил, что хотя он уже давно оставил практику, но согласен сделать исключение и в случае надобности посетить призреваемых девиц, затем он осведомился, не страдает ли сама фрейлейн фон Розеншен от какого-нибудь недуга. Фрейлейн ответила уверением, что она лишь время от времени замечает ревматические боли в членах, когда ей случается простудиться на утренней прогулке, но сейчас она совершенно здорова, и тут она перевела беседу на какую-то безразличную тему. Проспер спросил, не желает ли она, так как только что наступило утро, выпить чашку кофе? Розеншен заметила, что канониссы никогда не пренебрегают этим. Кофе подали, но, как ни старался Проспер налить его, чашки оставались пустыми, хотя кофе и лился из кофейника.

– Э-э! – улыбнулся Проспер Альпанус. – Да это строптивый кофе! Не угодно ли вам, досточтимая фрейлейн, разлить самой?

– С удовольствием, – отвечала фрейлейн и взяла кофейник. Но несмотря на то что из него не вылилось ни капли, все чашки наполнились, и кофе потек через край прямо на стол, на платье канониссы. Она поспешно отставила кофейник, и кофе бесследно исчез. Оба, Проспер Альпанус и канонисса, молча и несколько странно посмотрели друг па друга.

– Наверное, – начала дама, – наверное, вы, господин доктор, читали заманчивую книгу, когда я вошла?

– В самом деле, – отвечал доктор, – в этой книге много достопримечательного!

И он хотел раскрыть маленькую книжку в золоченом переплете, лежавшую перед ним на столе. Но все усилия его остались тщетными, ибо книжка всякий раз захлопывалась с громким: клипп-клап!

– Э-э! – сказал Проспер Альпанус. – А не попытаетесь ли вы, досточтимая фрейлейн, совладать с этой своевольной книжицей?

Он вручил ей книгу, которая, едва только дама прикоснулась к ней, раскрылась сама собой. Но все листы выскользнули из нее, растянулись в исполинское фолио и зашуршали по всей комнате.

Фрейлейн отпрянула в испуге. Доктор с силой захлопнул книгу, и все листы исчезли.

– Однако ж, – с мягкой усмешкой сказал Проспер Альпанус, поднимаясь с места, – однако ж, моя досточтимая госпожа, для чего расточаем мы время на подобные пустые фокусы; ибо то, что мы делаем, ведь не что иное, как обыкновенные застольные фокусы; перейдем-ка лучше к более возвышенным предметам.

– Я хочу уйти! – вскричала фрейлейн и поднялась с места.

– Ну, – сказал Проспер Альпанус, – это не так легко вам удастся без моего дозволения, ибо, милостивая государыня, принужден вам сказать, вы теперь совершенно в моей власти.

– В вашей власти, – гневно воскликнула фрейлейн, – в вашей власти, господин доктор? Вздорное самообольщение!

И тут она распустила свое шелковое платье и взлетела к потолку прекрасной бархатно-черной бабочкой-антипой.

Но тотчас, зажужжав и загудев, взвился за ней следом Проспер Альпанус, приняв вид дородного жука-рогача. В полном изнеможении бабочка опустилась на пол и забегала по комнате маленькой мышкой. Но жук-рогач с фырканием и мяуканьем устремился за ней серым котом. Мышка снова взвилась вверх блестящим колибри, но тогда вокруг дома послышались различные странные голоса, и, жужжа, налетели всяческие диковинные насекомые, а с ними и невиданные лесные пернатые, и золотая сеть затянула окна. И вдруг фея Розабельверде, во всем блеске и величии, в сверкающем белом одеянии, опоясанная алмазным поясом, с белыми и красными розами, заплетенными в темные локоны, явилась посреди комнаты. А перед нею маг в расшитом золотом хитоне, со сверкающей короной на голове, – в руке трость с источающим огненные лучи набалдашником.

Розабельверде стала наступать на мага, как вдруг из ее волос выпал золотой гребень и разбился о мраморный пол, словно стеклянный!

– Горе мне! Горе мне! – вскричала фея.

И вдруг за кофейным столом снова сидели канонисса Розеншен, в длинном черном платье, а против нее доктор Проспер Альпанус.

– Я полагаю, – преспокойно сказал Проспер Альпанус, как ни в чем не бывало разливая прекрасный дымящийся мокко в китайские чашки, – я полагаю, моя досточтимая фрейлейн, мы теперь довольно хорошо знаем друг друга. Мне очень жаль, что ваш прекрасный гребень разбился об этот каменный пол.

– Тому виной, – возразила фрейлейн, с удовольствием прихлебывая кофе, – только моя неловкость. Нужно остерегаться ронять что-нибудь на этот пол, ибо, если я не ошибаюсь, эти камни покрыты диковиннейшими иероглифами, которые многие могут счесть за обыкновенные жилки в мраморе.

– Износившиеся талисманы, моя госпожа, – сказал Проспер, – износившиеся талисманы эти камни, ничего больше.

– Однако, любезный доктор, – воскликнула фрейлейн, – как могло статься, что мы давным-давно не познакомились, что наши пути ни разу не сошлись?

– Различие в воспитании, – ответил Проспер Альпанус, – различие в воспитании, высокочтимая фрейлейн, единственно тому виной. В то время как вы, девушка, преисполненная надежд, были в Джиннистане всецело предоставлены вашей собственной богатой натуре, вашему счастливому гению, я, горемычный студент, заключенный в пирамидах, слушал лекции профессора Зороастра, старого ворчуна, который, однако, чертовски много знал. В правление достойного князя Деметрия я поселился в этой маленькой прелестной стране.

– Как, – удивилась фрейлейн, – и вас не выслали, когда князь Пафнутий насаждал просвещение?

– Совсе нет, – ответил Проспер, – более того: подлинное свое «я» мне удалось скрыть совершенно, ибо я употребил все старания, чтобы в различных сочинениях, которые я

распространял, выказать самые отменные познания по части просвещения. Я доказывал, что без соизволения князя не может быть ни грома, ни молнии и что если у нас хорошая погода и отличный урожай, то сим мы обязаны единственно лишь непомерным трудам князя и благородных господ – его приближенных, кои весьма мудро совещаются о том в своих покоях, в то время как простой народ пашет землю и сеет. Князь Пафнутий возвел меня тогда в должность тайного верховного президента просвещения, которую я вместе с моей личиной сбросил как тягостное бремя, когда миновала гроза. Втайне я приносил пользу, насколько мог. То, что мы с вами, досточтимая фрейлейн, зовем истинной пользой. Ведомо ли вам, дорогая фрейлейн, что это я предостерег вас от вторжения просветительной полиции? Что это мне вы обязаны тем, что еще обладаете прелестными безделками, кои вы мне только что показали? О боже, любезная фрейлейн, да поглядите только в окно! Неужто не узнаете вы этот парк, где вы так часто прогуливались и беседовали с дружественными духами, обитавшими в кустах, цветах, родниках? Этот парк я спас с помощью моей науки. Он и теперь все тот же, каким был во времена старика Деметрия. Хвала небу, князю Барсануфу нет особой нужды до всякого чародейства. Он – снисходительный государь и дозволяет каждому поступать по своей воле и чародействовать сколько душе угодно, лишь бы это не было особенно заметно да исправно платили бы подати. Вот я и живу здесь, как вы, дорогая фрейлейн, в своем приюте, счастливо и беспечно.

– Доктор, – воскликнула девица фон Розеншен, залившись слезами, – доктор, что вы сказали! Какое откровение! Да, я узнаю эту рошу, где я вкушала блаженнейшие радости. Доктор, вы благороднейший человек, сколь многим я вам обязана! И вы так жестоко преследуете моего маленького питомца?

– Вы, – возразил доктор, – вы, досточтимая фрейлейн, дали увлечь себя вашей прирожденной доброте и расточаете свои дары недостойному. Но, однако, невзирая на вашу добросердечную мощь, Циннобер – маленький уродливый негодяй и всегда таким останется, а теперь, когда золотой гребень разбился, он совершенно в моей власти.

– О, сжальтесь, доктор! – взмолилась фрейлейн.

– А не угодно ли вам поглядеть сюда? – сказал Проспер, подавая девице составленный им гороскоп Бальтазара.

Фрейлейн заглянула в гороскоп и горестно воскликнула:

– Да! Если все обстоит так, то я принуждена уступить высшей силе! Бедный Циннобер!

– Признайтесь, досточтимая фрейлейн, – с улыбкой сказал доктор, – признайтесь, что дамы нередко с большой охотой впадают в причуды; неустанно и неотступно преследуя внезапную прихоть, они не замечают, сколь болезненно это нарушает другие отношения. Судьба Циннобера свершится, но прежде он еще достигнет почести незаслуженной! Этим я свидетельствую свою преданность вашей силе, вашей доброте, вашей добродетели, моя высокочтимая милостивая госпожа.

– Прекрасный, чудесный человек, – воскликнула фрейлейн, – останьтесь моим другом!

– Навеки! – ответил доктор. – Моя дружба, моя духовная к вам склонность, прекрасная фея, никогда не пройдут. Смело обращайтесь ко мне во всех недоуменных обстоятельствах и – о, приезжайте пить кофе, когда только это вам вздумается!

– Прощайте, мой достойнейший маг, я никогда не забуду вашей благосклонности, вашего кофе! – Сказав это, растроганная фрейлейн поднялась, чтобы удалиться.

Проспер Альпанус проводил ее до решетчатых ворот, в то время как вокруг раздавались чудеснейшие и нежнейшие лесные голоса.

У ворот вместо кареты фрейлейн стояла запряженная единорогами хрустальная раковина доктора, на запятках поместился золотой жук, раскрыв блестящие крылья. На козлах восседал серебристый фазан и, держа в клюве золотые вожжи, поглядывал на фрейлейн умными глазами.

Когда хрустальная карета покатила, наполняя дивными звуками благоухающий лес, канонисса почувствовала себя перенесенной в блаженные времена чудеснейшей жизни фей.

Глава седьмая

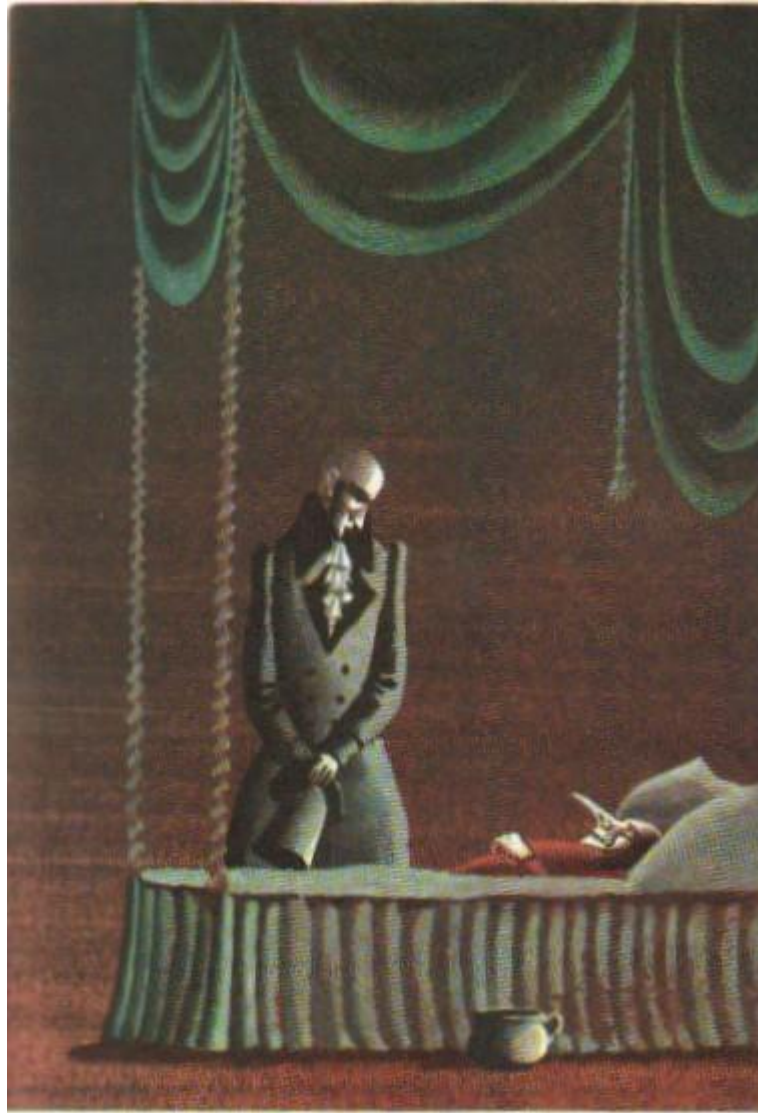
Как профессор Мош Тертин испытывает природу в княжеском

винном погребке. – Mucetes Beelzebub. – Отчаяние студента Бальтазара. – Благотворное влияние хорошо устроенного сельского дома на семейное счастье. – Как Проспер Альпанус преподнес Бальтазару черепаховую табакерку и затем уехал.

Бальтазар, укрывшийся в деревне Хох-Якобсхейм, получил из Керепеса от референдария Пульхера письмо следующего содержания:

«Дела наши, дорогой друг Бальтазар, идут все хуже и хуже. Наш враг, мерзостный Циннобер, сделался министром иностранных дел и получил орден Зелено-пятнистого тигра с двадцатью пуговицами. Он вознесся в любимцы князя и берет верх во всем, чего только пожелает. Профессор Мош Терпин на себя не похож: так он напыжился от глупой гордости. Предстательством своего будущего зятя он заступил место генерал-директора всех совокупных дел по части природы во всем государстве, – должность, которая приносит ему немало денег и множество других прибытков. В силу помянутой должности генерал-директора он подвергает цензуре и ревизии солнечные и лунные затмения, равно как и предсказания погоды во всех календарях, дозволенных в государстве, и в особенности испытывает природу в резиденции князя и ее окрестностях. Ради сих занятий он получает из княжеских лесов драгоценнейшую дичь, редчайших животных, коих он, дабы исследовать их естество, велит жарить и съедает. Теперь он пишет (или, по крайности, уверяет, что пишет) трактат, по какой причине вино несхоже по вкусу с водой, а также оказывает иное действие, и сочинение это он намерен посвятить своему зятю. В сих целях Циннобер исхлопотал Мошу Терпину дозволение в любое время производить штудии в княжеском винном погребке. Он уже проштудировал пол-оксгофта старого рейнвейна, равно как и несколько дюжин шампанского, а теперь приступил к бочке аликанте. Погребщик в отчаянии ломает руки. Итак, профессору, который, как тебе известно, самый большой лакомка на свете, повезло, и он вел бы весьма привольную жизнь, если бы часто не приходилось ему, когда град побьет поля, поспешно выезжать в деревню, чтобы объяснить княжеским арендаторам, отчего случается град, дабы и этим глупым пентюхом малость перепало от науки и они могли бы впредь остерегаться подобных бедствий и не требовать увольнения от арендной платы по причине несчастья, в коем никто, кроме них самих, не повинен.

Министр никак не может позабыть принятые от тебя побои. Он поклялся отомстить. Тебе уж больше нельзя показываться в Керепесе. И меня он тоже жестоко преследует, так как я подглядел его таинственное обыкновение причесываться у крылатых дам. До тех пор пока Циннобер будет любимцем князя, мне нечего и рассчитывать заступить какую-нибудь порядочную должность. Моя несчастливая звезда беспрестанно приводит меня к встрече с этим уродом там, где я совсем не ожидаю, и всякий раз роковым для меня образом. Недавно министр во всем параде, при шпаге, звезде и орденской ленте, был в зоологическом кабинете и, по своему обыкновению, подпершись тросточкой, стоял на цыпочках перед стеклянным шкафом с редчайшими американскими обезьянами. Чужестранцы, обозревавшие кабинет, подходят к шкафу, и один из них, завидев нашего альпауна, восклицает: «Ого! Какая милая обезьяна! Какой прелестный зверек – украшение всего кабинета. А как называется эта хорошенькая обезьянка? Откуда она родом?»»



И вот смотритель кабинета, коснувшись плеча Циннобера, весьма серьезно отвечает:

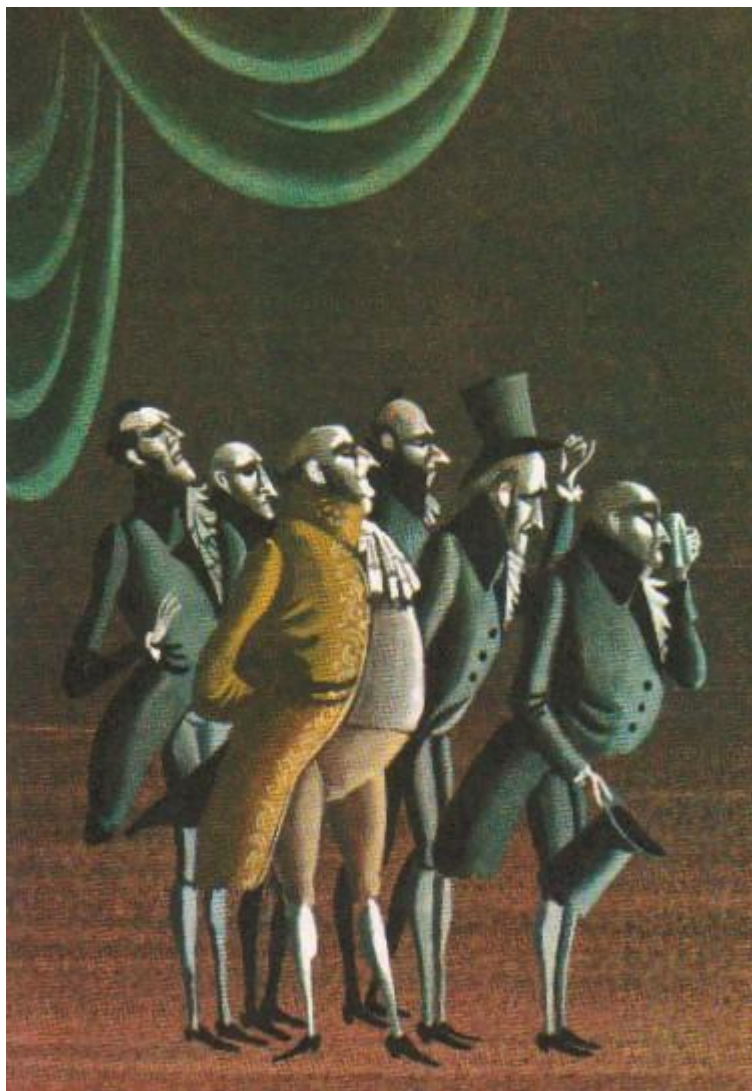
– Да, это прекраснейший экземпляр, великолепный бразилец, так называемый *Mycetes Beelzebub – Simia Beelzebub Linnei – niger, barbatus, podiis caudaque apice brunneis*⁴ – обезьяна-ревун.

– Сударь, – окрылся малыш на смотрителя, – сударь, я полагаю, вы лишились ума или совсем спятили, я никакой не *Beelzebub caudaque*, – не обезьяна-ревун, я Циннобер, министр Циннобер, кавалер ордена Зелено-пятнистого тигра с двадцатью пуговицами!

Я стою неподалеку, и когда б мне пришлось умереть на месте, я и то бы не удержался – я просто заржал от смеха.

– А, и вы тут, господин референдарий? – прохрипел он, и его колдовские глаза засверкали.

⁴ Линнеева обезьяна Вельзевул – черная, бородатая, с кирпично-красными ногами, хвостом и макушкой (лат.).



Бог весть как это случилось, но только чужестранцы продолжали принимать его за самую прекрасную, редкостную обезьяну, которую им когда-нибудь довелось видеть, и захотели непременно угостить его ломбардскими орехами, которые повываскивали из карманов. Циннобер пришел в такую ярость, что не мог передохнуть, и ноги у него подкосились. Камердинер, которого позвали, принужден был взять его на руки и снести в карету.

Я и сам не могу объяснить, отчего это происшествие было мне как бы мерцанием надежды. Это первая неудача постигшая маленького оборотня.

Намедни, насколько мне известно, Циннобер рано по утрам воротился из сада весьма расстроенный. Должно быть, кралатая женщина не явилась, так как от его прекрасных кудрей не осталось и помина. Говорят, теперь его всклокоченные лохмы свисают на плечи, и князь Барсануф заметил ему: «Не пренебрегайте чрезмерно вашей прической, дорогой министр, я пришлю к вам своего куафера». На что Циннобер весьма учтиво ответил, что он велит этого парня, когда тот зайвится, выбросить в окошко. «Великая душа! К вам и не подступиться!» – промолвил князь и горько заплакал.

Прощай, любезный Бальтазар! Не оставляй надежды да прячься получше, чтобы они тебя не схватили!»

В совершенном отчаянии от всего, о чем писал ему друг, Бальтазар убежал в самую чащу леса и принялся громко сетовать.

– Надеяться! – воскликнул он. – И я еще должен на что-то надеяться, когда всякая надежда исчезла, когда все звезды померкли и темная-претемная ночь объемлет меня, безутешного? Злосчастный рок! Я побежден темными силами, губительно вторгшимися в мою жизнь! Безумец, я возлагал надежды на Проспера Альпануса, что своим адским искусством завлек меня и удалил из Керепеса, сделав так, что удары, которые я наносил изображению в зеркало, посыпались в действительности на спину Циннобера. Ах, Кандида! Когда б только мог я позабыть это

небесное дитя! Но искра любви пламенеет во мне все сильнее и жарче прежнего. Повсюду вижу я прелестный образ возлюбленной, которая с нежной улыбкой, в томлении простирает ко мне руки. Я ведь знаю! Ты любишь меня, прекрасная, сладчайшая Кандида, и в том моя безутешная, смертельная мука, что я не в силах спасти тебя от бесчестных чар, опутавших тебя! Предательский Проспер! Что сделал я тебе, что ты столь жестоко дурачишь меня?

Смерклося: все краски леса смешались в густой серой мгле. И вдруг сверкнул какой-то странный отблеск, словно вечерняя заря вспыхнула меж кустов и деревьев, и тысячи насекомых, шелестя крыльями, с жужжанием поднялись в воздух. Светящиеся золотые жуки носились взад и вперед, пестрые нарядные бабочки порхали, осыпая душистую цветочную пыльцу. Шелест и жужжание становились все нежнее, переходя в сладостно журчащую музыку, которая принесла утешение истерзанному сердцу Бальтазара. Над ним все сильнее разгоралось лучистое сияние. Он поднял глаза и с изумлением увидел Проспера Альпануса, летевшего к нему на каком-то диковинном насекомом, не лишенном сходства с великолепной, сверкающей всеми красками стрекозой.

Проспер Альпанус спустился к юноше и сел подле него, стрекоза упорхнула в кусты, вторя пению, наполнявшему весь лес.

Сверкающим чудесным цветком, что был у него в руке, доктор коснулся чела Бальтазара, и тотчас в юноше пробудился дух бодрости.

– Ты несправедлив, – тихо сказал Проспер Альпанус, – ты весьма несправедлив ко мне, любезный Бальтазар, когда бранишь меня предательским и жестоким как раз в ту самую минуту, когда мне удалось возобладать над чарами, разрушившими твою жизнь, когда я, чтобы скорей найти тебя, скорей утешить, взлетаю на своем любимом скакуне и мчусь к тебе со всем необходимым для твоего благополучия. Однако нет ничего горше любовной муки, ничто не сравнится с нетерпением души, отчаявшейся в любовной тоске. Я прощаю тебе, ибо и мне самому было не легче, когда я, примерно две тысячи лет тому назад, полюбил индийскую принцессу, которую звали Бальзамина, и в отчаянии вырвал бороду своему лучшему другу, магу Лотосу, по какой причине и сам, как ты видишь, не ношу бороды, дабы и со мной не случилось чего-либо подобного. Однако ж рассказывать тебе обо всем пространно было бы сейчас весьма неуместно, ибо всякий влюбленный хочет слышать только о своей любви и только одну ее считает достойной речи, равно как и всякий поэт с охотой внимает только своим стихам. Итак, к делу! Знай же, что Циннобер – обездоленный урод, сын бедной крестьянки, и настоящее его прозвание – крошка Цахес. Только из тщеславия принял он гордое имя Циннобер! Канонисса фон Розеншен, или в действительности прославленная фея Розабельверде, ибо эта дама но кто иная, как фея, нашла маленькое чудище на дороге. Она полагала, что за все, в чем природа-мачеха отказала малышу, вознаградит его странным таинственным даром, в силу коего все замечательное, что в его присутствии кто-либо другой помыслит, скажет или сделает, будет приписано ему, да и он в обществе красивых, рассудительных и умных людей будет признан красивым, рассудительным и умным и вообще всякий раз будет почтен совершеннейшим в том роде, с коим придет в соприкосновение.

Это удивительное волшебство заключено в трех огнистых сверкающих волосках на темени малыша. Всякое прикосновение к этим волоскам, да и вообще к голове, для него болезненно, даже губительно. По этой-то причине фея превратила его от природы редкие, всклокоченные волосы в густые, прекрасные локоны, которые, защищая голову малыша, вместе с тем скрывают упомянутую красную полоску и увеличивают чары. Каждый девятый день фея магическим золотым гребнем причесывала малыша, и эта прическа расстраивала все попытки уничтожить чары. Но этот гребень разбил надежный талисман, который я изловчился подсунуть доброй фее, когда она посетила меня.

Теперь дело за тем, чтобы вырвать у него эти три огнистых волоска, и он погрузится в былое ничтожество. Тебе, мой любезный Бальтазар, предназначено разрушить эти чары. Ты наделен мужеством, силой и ловкостью, ты свершишь все, как надлежит. Возьми это отшлифованное стеклышко, подойдя к маленькому Цинноберу, где бы ты его ни встретил, пристально погляди через это стекло на его голову, и три красных волоска прямо и несокровенно объявятся на его темени. Схвати их покрепче, невзирая на пронзительный кошачий визг, который он подымет, вырви разом эти три волоска и тотчас сожги их на месте.

Неприменно нужно вырвать эти волоски единым разом и тотчас же сжечь, а не то они смогут причинить еще немало всяческого вреда. Поэтому особенно обрати внимание па то, чтобы напасть на малыша и крепко и ловко ухватить эти волоски, когда поблизости будет гореть камин или свечи.

– О Проспер Альпанус! – вскричал Бальтазар. – Своим недоверием я не заслужил такой доброты, такого великодушия! В глубине моего сердца родилось чувство, что мои страдания миновали, что мне отверзлись золотые врата небесного счастья.

– Я люблю, – продолжал Проспер Альпанус, – я люблю юношей, у которых, подобно тебе, любезный Бальтазар, в чистом сердце заключено нетерпеливое стремление и любовь, в чьих душах находят отзвук те величественные аккорды, что доносятся из дальней, полной божественных чудес страны – моей родины. Счастливы, одаренные этой внутренней музыкой, – единственные, кого можно назвать поэтами, хотя этим словом называют многих, которые хватают первый попавшийся контрабас, водят по нему смычком и беспорядочное дребезжание стонущих от их прикосновения струн принимают за великолепную музыку, что струится из глубины их собственных сердец. Я знаю, возлюбленный Бальтазар, – подчас тебе сдается, что ты понимаешь бормотание ручьев, шепот деревьев и будто пламенеющий закат ведет с тобой разумные речи. Да, мой Бальтазар, в эти мгновения ты и впрямь постигаешь чудесные голоса природы, ибо в твоей собственной душе возникает божественный звук, порожденный дивной гармонией сокровеннейших начал природы. Так как ты играешь на фортепьяно, о поэт, то тебе, верно, известно, что взятому тону вторят все ему созвучные. Этот закон природы взят мною не для пустого сравнения. Да, ты поэт, ты много выше, чем полагают иные из тех, кому ты читал свои опыты, в которых пытался с помощью пера и чернил переложить на бумагу внутреннюю музыку. В этих опытах ты еще немного успел. Однако ты сделал хороший набросок в историческом роде, когда с прагматической широтой и обстоятельностью рассказал о любви соловья к алой розе, историю, которой я был свидетелем. Это весьма искусное произведение.

Проспер Альпанус умолк. Бальтазар, широко раскрыв глаза, с удивлением смотрел на него; он совсем не знал, что ему сказать, когда стихотворение, которое он считал самым фантастическим из всего, что было им написано, Проспер объявил опытом в историческом роде.

– Тебя, – продолжал Проспер Альпанус, и лицо его озарилось приветливой улыбкой, – тебя мои речи, должно быть, приводят в изумление, и тебе, верно, многое во мне кажется странным. Но рассуди сам: по мнению всех здравомыслящих людей, я – лицо, которому дозволено выступать лишь в сказках, а ты знаешь, возлюбленный Бальтазар, подобные лица могут совершать диковинные поступки и молоть всякий вздор, сколько им вздумается, особенно же если за этим скрывается нечто такое, чего нельзя отвергнуть. Однако ж продолжим беседу. Ежели фея Розабельверде так ревностно заботится об уродливом Циннобере, то ты, Бальтазар, всецело под моей защитой. Так послушай, что я надумал для тебя сделать. Вчера меня посетил маг Лотос, он передал мне несчетное множество поклонов и столько же упреков от принцессы Бальзамины, которая пробудилась от сна и в сладостных звуках Чарта-Бхады, той прекрасной поэмы, что была нашей первой любовью, простирает ко мне томящиеся руки. Также и мой старый друг, министр Юхи, приветливо кивает мне с Полярной звезды. Я должен уехать в далекую Индию. В моем имени, которое я покидаю, я не желал бы видеть другого владельца, кроме тебя. Завтра я отправляюсь в Керепес и составлю по всей форме дарственную запись, где я буду означен твоим дядей. Как только чары Циннобера будут разрушены, ты представишься профессору Мошу Терпину владельцем прекрасного имения, изрядного состояния и попросишь руки прелестной Кандиды, на что он с превеликой радостью согласится. Мало того! Ежели ты поселишься с Кандидой в моем сельском доме, то счастье вашего супружества обеспечено. За прекрасными деревьями сада произрастает все, что необходимо для домашнего обихода. Помимо чудеснейших плодов – еще и отменная капуста, да и всякие добротные вкусные овощи, каких по всей округе не найти. У твоей жены всегда будет первый салат, первая спаржа. Кухня так устроена, что горшки никогда не перекипают и ни одно блюдо не подгорает, даже если ты на целый час опоздаешь к столу. Ковры, чехлы на стульях и диване такого свойства, что даже при самой большой неловкости слугам не удастся

посадить на них пятно, точно так же там не бьется ни фарфор, ни стекло, какие бы великие усилия ни прилагала к тому прислуга, даже если начнет бросать посуду на каменный пол. Наконец, всякий раз когда жена устроит стирку, то на большом лугу позади дома будет стоять прекрасная ясная погода, хотя бы повсюду шел дождь, гремел гром и сверкала молния. Словом, мой Бальтазар, все устроено так, чтобы ты мог спокойно и нерушимо наслаждаться семейным счастьем подле прекрасной своей Кандиды!

Однако мне пора домой, дабы вместе с моим другом Лотосом заняться сборами к скорому отъезду. Прощай, мой Бальтазар!

Тут Проспер свистнул раз, другой, и тотчас, жужжа прилетела стрекоза. Он взнуздал ее и вскочил в седло. Но уже отлетев, внезапно остановился и вернулся к Бальтазару.

– Я было, – сказал он, – чуть не запомнил о твоём друге Фабиане. Поддавшись шаловливой веселости, я чересчур жестоко покарал его за ложное умствование. В этой табакерке заключено то, что его утешит.

Проспер подал Бальтазару маленькую блестящую, полированную черепаховую табакерку, которую тот спрятал вместе с лорнеткой, ранее врученной ему Проспером для уничтожения чар Циннобера.

Проспер Альпанус прошуршал сквозь кустарник в то время как лесные голоса звенели все сладостней и громче.

Бальтазар воротился в Хох-Якобсхейм; все блаженство, весь восторг сладчайшей надежды наполняли его сердце.

Глава восьмая

Как Фабиана по причине длинных фалд почли еретиком и смутьяном. – Как князь Барсануф укрылся за каминным экраном и отрешил от должности генерал-директора естественных дел. – Бегство Циннобера из дома Моша Терпина. – Как Мош Терпин собрался выехать на мотыльке и сделаться императором, но потом пошел спать.

Рано поутру, когда дороги и улицы были еще безлюдны, Бальтазар прокрался в Керепес и прямехонько побежал к своему другу Фабиану. Когда он постучал в дверь, слабый, больной голос отозвался: «Войдите!»

Бледный, изможденный, с безнадежной скорбью в лице, лежал на постели Фабиан.

– Ради бога, – вскричал Бальтазар, – ради бога, скажи, друг, что с тобой приключилось?

– Ах, друг, – прерывающимся голосом заговорил Фабиан и с трудом приподнялся в постели, – я пропал, я совсем пропал! Проклятое колдовское наваждение, которое – я знаю – наслал на меня мстительный Проспер Альпанус, довело меня до гибели!

– Статочное ли дело? – спросил Бальтазар. – Чародейство! Колдовское наваждение! Да ты ведь прежде ни во что такое не верил!

– Ах, – продолжал Фабиан слезливым голосом, – ах, Я теперь верю во все: в колдунов и ведьм, в гномов и водяных, в крысиного короля и альраунов корень – во все, во что хочешь! Кому так нездоровится, как мне, тот со всем согласен! Помнишь адский переполох из-за моего сюртука по возвращении от Проспера Альпануса! Да! Когда б только дело тем и кончилось! Погляди-ка, дорогой Бальтазар, что тут у меня в комнате!

Бальтазар огляделся и увидел, что кругом, по всем стенам развешано несчетное множество фраков, сюртуков, курток всевозможнейшего покроя и всевозможных цветов.

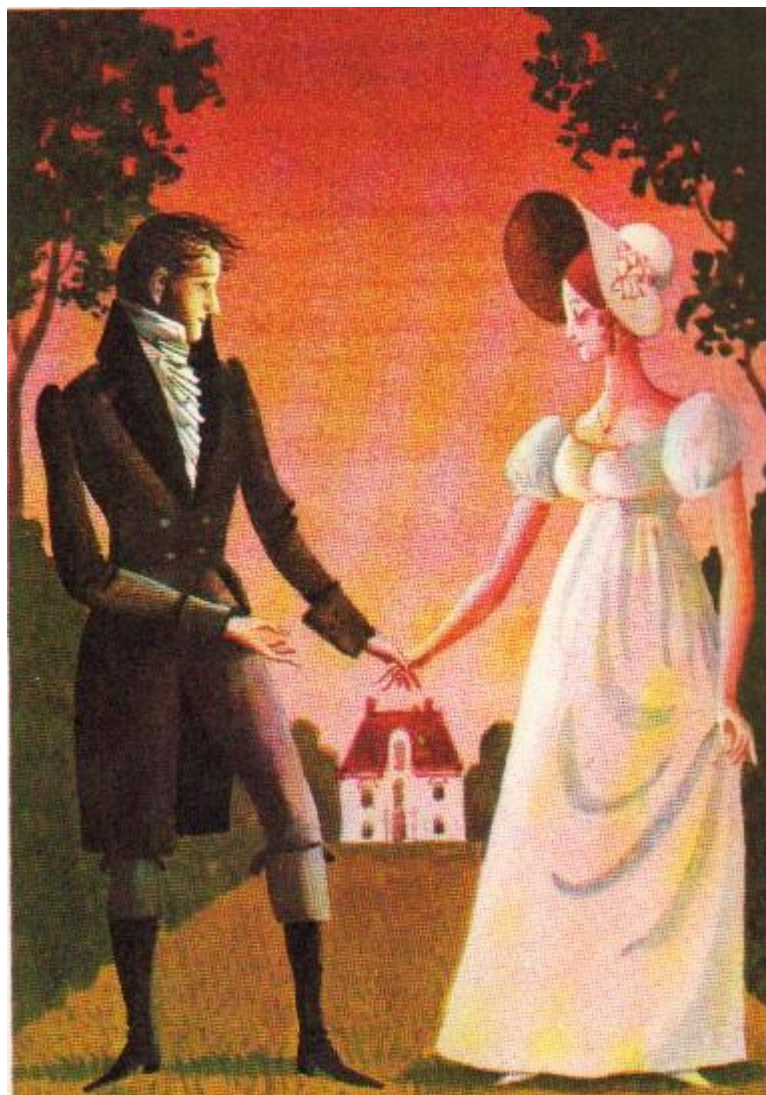
– Как? – вскричал он. – Фабиан, ты собрался торговать ветошью?

– Не насмехайся, – отвечал Фабиан, – не насмехайся, дорогой друг. Все эти платья я заказывал у знаменитейших портных, надеясь когда-нибудь избавиться от этого злосчастного проклятия, тяготеющего над моей одеждой, но тщетно. Стоит мне надеть самый лучший сюртук, который сидит на мне превосходно, и поносить его несколько минут, как рукава собираются к плечам, а фалды волочатся за мной на шесть локтей. В отчаянии я велел сшить себе вот этот спенсер с нескончаемо длинными, как у Пьеро, рукавами.

«А ну, соберитесь-ка, рукава, – думал я про себя, – растянитесь, полы, и все придет в надлежащий вид».

Но в несколько минут с ним случилось то же самое, что и с остальным платьем! Все уменье и все усилия самых искусных портных не могут побороть этих проклятых чар! Что всюду, где я ни появлялся, надо мной потешались, глумились, это разумеется само собой, но скоро мое безвинное упорство, с каким я продолжал появляться в таком дьявольском платье, подало повод к иным суждениям. Самым меньшим злом еще было то, что женщины укоряли меня в безграничной пошлости и тщеславии, ибо я, наперекор всем обычаям, обнажаю руки, видимо считая их весьма красивыми. Теологи скоро ославили меня еретиком и только спорили еще, причислить ли меня к секте рукавианцев или фалдистов, но сошлись на том, что обе секты до чрезвычайности опасны, ибо обе допускают абсолютную свободу воли и дерзают думать что угодно. Дипломаты видели во мне презренного смутьяна. Они утверждали, что своими длинными фалдами я вознамерился посеять недовольство в народе и возбудить его против правительства и что я вообще принадлежу к тайному сообществу, отличительный знак которого – короткие рукава. Что уже с давних пор то здесь, то там замечены были следы короткорукавников, коих так же надлежит опасаться, как иезуитов, даже больше, ибо они тщатся всюду насаждать вредную для всякого государства поэзию и сомневаются в непогрешимости князя. Словом, дело становилось все серьезней и серьезней, пока наконец меня не потребовал к себе ректор. Я предвидел, что будет беда, если я надену сюртук, и поэтому явился в одном жилете. Это разгневало ректора, он решил, что я хочу над ним посмеяться, и накричал на меня, приказав, чтоб я через неделю явился к нему в благоразумном, пристойном сюртуке; в противном же случае он без всякого снисхождения распорядится меня исключить. Сегодня настал срок. О я несчастный! О, проклятый Проспер Альпанус!

– Постой, – вскричал Бальтазар, – постой, любезный друг Фабиан, не поноси моего доброго, милого дядюшку, который подарил мне имение. Он и тебе не желает зла, хотя, признаюсь, он чересчур жестоко наказал тебя за самонадеянное умствование. Но я принес тебе избавление. Он прислал тебе вот эту табакерку, которая положит конец всем твоим мучениям.



Тут Бальтазар вытащил из кармана маленькую черепаховую табакерку, полученную от Проспера Альпануса, и вручил ее безутешному Фабиану.

– Чем, – спросил он, – чем пособит мне эта глупая безделка? Какое действие может оказать маленькая черепаховая табакерка на покрой моего платья?

– Того я не знаю, – ответил Бальтазар, – однако ж мой дядюшка не станет меня обманывать, у меня к нему совершеннейшее доверие; а потому открой-ка табакерку, любезный Фабиан, давай поглядим, что в ней.

Фабиан так и сделал. Из табакерки выполз превосходно сшитый черный фрак тончайшего сукна. Оба, Фабиан и Бальтазар, не могли удержаться от крика величайшего изумления.

– Ага, я понимаю тебя, – воскликнул в восторге Бальтазар, – я понимаю тебя, мой Проспер, мой дорогой дядя! Этот фрак будет впору, он снимет все чары!

Фабиан без дальнейших околичностей надел его, и, как Бальтазар предполагал, так и случилось. Прекрасный фрак сидел на нем великолепно, как никогда, а о том, чтобы рукава полезли вверх и фалды удлинлись, не было и помину.

Вне себя от радости, Фабиан порешил тотчас же отправиться в этом новом, так хорошо сидящем фраке к ректору и уладить все дело.

Бальтазар со всеми подробностями рассказал своему другу, как обстоит дело с Проспером Альпанусом и как тот дал ему средство положить конец мерзким бесчинствам уродливого карлика. Фабиан, совершенно переменившись, ибо его окончательно покинул дух сомнения, превозносил высокое благородство Проспера и предложил свою помощь при расколдовывании Циннобера. В эту минуту Бальтазар увидел в окно своего друга, референдаря Пульхера, который в полном унынии сворачивал за угол.

По просьбе Бальтазара Фабиан высунулся из окна, помахал рукой и крикнул

реферндарию, чтобы он сейчас же поднялся к нему.

Едва Пульхер вошел, как тотчас же воскликнул:

– Что за чудесный фрак на тебе, любезный Фабиан!

Но тот сказал, что Бальтазар ему все объяснит, и помчался к ректору.

Когда Бальтазар обстоятельно поведал реферндарию обо всем, что произошло, тот сказал:

– Как раз пришло время умертвить это гнусное чудовище! Знай, – сегодня он торжественно справляет свою помолвку с Кандидой и тщеславный Мош Терпин устраивает празднество, на которое пригласил самого князя. Во время этого празднества мы и вторгнемся в дом профессора и нападём на малыша. Свечей в зале будет довольно, чтоб тотчас же сжечь ненавистные волосы.

Друзья успели переговорить и условиться о многих вещах, когда воротился Фабиан, сияя от радости.

– Сила, – сказал он, – сила, заключенная во фраке, выползшем из черепаховой табакерки, прекрасно себя оправдала! Едва только я вошел к ректору, он улыбнулся, весьма довольный. «Ага, – обратился он ко мне, – ага! Я вижу, любезный Фабиан, что вы отступились от своего странного заблуждения! Ну, горячие головы, подобные вам, легко вдаются в крайности! Ваше начинание я никогда не объяснял религиозным изуверством, скорее ложно понятым патриотизмом – склонностью к необычному, которая покоится на примерах героев древности. Да, вот это я понимаю! Какой прекрасный фрак! Как хорошо сидит! Слава государству, слава всему свету, когда благородные духом юноши носят фраки с так хорошо прилаженными рукавами и фалдами! Храните верность, Фабиан, храните верность такой добродетели, такой честности мыс лей, – вот откуда произрастает подлинное величие героев!» Ректор обнял меня, и слезы выступили у него на глазах. Сам не зная как, я вытащил из кармана маленькую черепаховую табакерку, из которой возник фрак. «Разрешите», – сказал ректор, сложив пальцы, большой и указательный. Я раскрыл табакерку, не зная, есть ли в ней табак. Ректор взял шепотку, понюхал, схватил мою руку и крепко пожал ее, слезы текли у него по щекам; глубоко растроганный, он сказал: «Благородный юноша! Славная понюшка! Все прощено и забыто! Приходите сегодня ко мне обедать». Вы видите, друзья, всем моим мукам пришел конец, и если нам удастся сегодня разрушить чары Циннобера, – а иного и ожидать не приходится, – то и вы будете счастливы!

В освещенной сотнями свечей зале стоял крошка Циннобер в багряном расшитом платье, при большой звезде Зелено-пятнистого тигра с двадцатью пуговицами, – на боку шпага, шляпа с плюмажем под мышкой. Подле него – прелестная Кандида в уборе невесты, во всем сиянии красоты и юности. Циннобер держал ее руку, которую порою прижимал к губам, причем преотвратительно скалил зубы и ухмылялся. И всякий раз щеки Кандиды заливал горячий румянец, и она вперяла в малыша взор, исполненный самой искренней любви. Смотреть на это было весьма страшно, и только ослепление, в которое повергли всех чары Циннобера, было виной тому, что никто не возмущился бесчестным обманом, не схватил маленького ведьмёныша и не швырнул его в камин. Вокруг этой пары в почтительном отдалении толпились гости. Только князь Барсануф стоял рядом с Кандидой и бросал вокруг многозначительные и благосклонные взгляды, на которые, впрочем, никто не обращал особого внимания. Все взоры были устремлены на жениха и невесту, все внимание обращено к устам Циннобера, который время от времени бормотал какие-то невнятные слова, всякий раз исторгавшие у слушателей негромкое «ах!» величайшего изумления.

Пришло время обручения. Мош Терпин приблизился с подносом, на котором сверкали кольца. Он откашлялся. Циннобер как можно выше приподнялся па цыпочках, так что почти достал локтя невесты. Все стояли в напряженном ожидании, – и тут вдруг слышатся чьи-то чужие голоса, двери в залу распахиваются, врывается Бальтазар, с ним Пульхер, Фабиан! Они прорывают круг гостей. «Что это значит, что нужно этим незванным?» – кричат все наперебой.

Князь Барсануф вопит в ужасе: «Возмущение! Крамола! Стража!» – и быстро прячется за каминный экран. Мош Терпин узнает Бальтазара, подступившего к Цинноберу, и кричит:

– Господин студент! Вы рехнулись! В своем ли вы уме? Как вы посмели ворваться сюда во время обручения? Люди! Господа! Слуги! Вытолкайте этого невежу за дверь!

Но Бальтазар, не обращая на все это ни малейшего внимания, уже достал лорнет Проспера Альпануса и пристально глядит через него на голову Циннобера. Словно пораженный электрическим ударом, Циннобер испускает пронзительный кошачий визг, разнесшийся по всей зале. Кандида в беспамятстве падает на стул. Тесный круг гостей рассыпается. Бальтазар отчетливо видит огнистую сверкающую прядь, он подскакивает к Цинноберу – хватает его. Тот отбрыкивается, упирается, царапается, кусается.

– Держите! Держите! – кричит Бальтазар. Тут Фабиан и Пульхер хватают малыша, так что он не может ни двинуться, ни шелохнуться, а Бальтазар, уверенно и осторожно схватив красные волосы, единым духом вырывает их, подбегает к камину и бросает в огонь. Волосы вспыхивают, раздаётся оглушительный удар. Все пробуждаются, словно ото сна. И вот, с трудом поднявшись, стоит крошка Циннобер и бранится, ругается и велит немедленно схватить и заточить в тюрьму дерзких возмутителей, покусившихся на священную особу первого министра. Но все спрашивают друг у друга: «Откуда вдруг взялся этот маленький кувыркунчик? Что нужно этому маленькому чудищу?» – и так как карапуз все еще продолжает бесноваться, топает ножкой и, не умолкая, кричит: «Я министр Циннобер! Я министр Циннобер! Зелено-пятнистый тигр с двадцатью пуговицами!» – то все разражаются ужаснейшим смехом. Малыша окружают. Мужчины подхватывают его и перебрасывают, как мяч. Орденские пуговицы отлетают одна за другой – он теряет шляпу, шпагу, башмаки. Князь Барсануф выходит из-за каминного экрана и вмешивается в суматоху. Тут малыш визжит:

– Князь Барсануф! Ваша светлость! Спасите вашего министра! Вашего любимца! На помощь! На помощь! Государство в опасности! Зелено-пятнистый тигр, горе, горе!

Князь бросает на малыша гневный взгляд и быстро проходит к дверям. Мош Терпин заступает ему дорогу. Князь хватается за руку, отводит в угол и говорит, сверкая от ярости глазами:

– Вы осмелились перед вашим князем, перед отцом отечества разыграть глупую комедию? Вы пригласили меня на помолвку вашей дочери с моим достойным министром Циннобером, и вместо моего министра я нахожу здесь какого-то мерзкого выродка, которого вы раздели в пышное платье? Знайте, сударь, что это изменническая шутка, за которую я наказал бы вас весьма строго, когда бы вы не были совсем шальным сумасбродом, которому место в доме умалишенных. Я отрешаю вас от должности генерал-директора естественных дел и запрещаю всякое дальнейшее штудирование в моем погребе. Прощайте!

И он стремительно выбежал из дому.

Дрожа от бешенства, бросился Мош Терпин на малыша, ухватил его за длинные всклокоченные волосы и поволок к окну.

– Проваливай, – кричал он, – проваливай, мерзкий, презренный выродок, который так постыдно провел меня и лишил счастья всей жизни!

Он собрался было выбросить малыша в открытое окно, однако ж смотритель зоологического кабинета, случившийся тут же, с быстротою молнии подскочил к ним и выхватил Циннобера из рук Моша Терпина.

– Остановитесь, – сказал смотритель, – остановитесь, господин профессор, не покушайтесь на то, что принадлежит князю. Это вовсе не выродок, это – *Muscetes Beelzebub*, *Simia Beelzebub*, сбежавший из музея.

«*Simia Beelzebub! Simia Beelzebub!*» – загремел кругом громкий смех. Но едва только смотритель взял малыша на руки и хорошенько разглядел его, как воскликнул с досадою:

– Что я вижу! да ведь это не *Simia Beelzebub* – это гадкий, отвратительный альраун! Тьфу! Тьфу!

И с этими словами он швырнул малыша на середину залы. Под раскаты зычного надругательского смеха, визжа и мяуча, выбежал Циннобер за дверь, скатился по лестнице – скорее, скорее домой, – так что никто из слуг его даже не заметил.

Покуда все это происходило в зале, Бальтазар удалился в гостиную, куда, как он узнал, отнесли бесчувственную Кандиду. Он упал к ее ногам, прижимал к своим губам ее руки, называл ее нежнейшими именами. Но вот, глубоко вздохнув, она очнулась и, увидев Бальтазара, в восторге воскликнула:

– Наконец-то, наконец-то ты здесь, любимый мой Бальтазар! Ах, я едва не умерла от

тоски и любовной муки! И мне все слышалось пение соловья, от которого истекает кровью сердце алой розы!

И вот, обо всем, обо всем позабыв, она рассказала ему, какой злой, отвратительный сон окутал ее, как ей казалось, что у ее сердца лежит безобразное чудище, которое она была принуждена полюбить, ибо не могла иначе. Чудище умело так притворяться, что становилось похоже на Бальтазара; а когда она прилежно думала о Бальтазаре, то, хотя и знала, что чудище не Бальтазар, все же непостижимым для нее образом ей казалось, будто она любит чудище именно ради Бальтазара.

Бальтазар объяснил ей все, насколько это было возможно, не внося расстройства в ее и без того взволнованную душу. Затем, как это всегда бывает у влюбленных, последовали тысячи уверений, тысячи клятв в вечной любви и верности. И они обнялись и прижимали друг друга к груди со всем жаром искренней нежности и были упоены высшим небесным блаженством и восторгом.

Вошел Мош Терпин, ломая руки и горько сетуя; за ним следом – Пульхер и Фабиан, беспрестанно его утешавшие, но тщетно.

– Нет, – вопил Мош Терпин, – нет, я вконец погибший человек! Я уже больше не генерал-директор естественных дел в нашем государстве! Никаких штудий в княжеском погребце... Немилость князя... Я надеялся стать кавалером ордена Зелено-пятнистого тигра, по крайней мере с пятью пуговицами! Все пропало! Что-то теперь скажет его превосходительство досточтимый министр Циннобер, когда услышит, что я принял за него негодного выродка *Simia Beelzebub cauda prehensili*⁵ или не знаю кого там еще. О боже, его ненависть падет на меня! Аликанте! Аликанте!

– Но послушайте, дорогой профессор, – утешали его друзья, – уважаемый генерал-директор, возьмите в толк, что теперь уже больше нет никакого министра Циннобера. Вы совсем не обманулись: мерзкий уродец в силу волшебного дара, полученного им от феи Розабельверде, обольстил вас так же, как и всех нас!

И вот Бальтазар рассказал, как все это случилось, с самого начала. Профессор слушал, слушал, пока Бальтазар не кончил, и вдруг воскликнул:

– Во сне я или наяву, – ведьмы, волшебники, феи, магические зеркала, симпатии – и я должен поверить в этот вздор?

– Ах, любезный господин профессор, – вмешался Фабиан, – поносили бы вы хоть малое время сюртук с короткими рукавами да длинным шлейфом, как это довелось мне, вы бы во все уверовали, так что любо было бы посмотреть!

– Да, – вскричал Мош Терпин, – да, да, все это так! Да, меня обольстило заколдованное чудище, я уже не стою на ногах, я взлетаю под потолок, Проспер Альпанус берет меня с собой, я выезжаю верхом на мотыльке, меня будет причесывать фея Розабельверде – канонисса Розеншен, – и я стану министром! Королем! Императором!

И он принялся прыгать по комнате, кричать и издавать радостные возгласы, так что все опасались за его рассудок, пока наконец, совсем обессилев, не упал в кресла. Тут Кандида и Бальтазар подошли к нему. Они сказали, что любят друг друга нежно, больше всего на свете, что не могут друг без друга жить, так что слушать их было весьма грустно, по какой причине Мош Терпин даже немного всплакнул.

– Дети, – воскликнул он, всхлипывая, – дети, делайте все, что хотите! Женитесь, любите друг друга, голодайте вместе, потому что в приданое Кандиде я не дам ни гроша!

Что касается голода, сказал, улыбаясь, Бальтазар, так он надеется завтра убедить господина профессора, что об этом никогда не пойдет речь, ибо его дядя, Проспер Альпанус, о нем хорошо позаботился.

– Так и сделай, – пролепетал профессор, улыбаясь, – так и сделай, мой любезный сын, коли сможешь, но только завтра; а не то я лишусь ума и у меня треснет голова, если я тотчас не отправлюсь спать!

Так он и поступил.

⁵ Обезьяна Вельзевул с цепким хвостом (лат.).

Глава девятая

Смушение верного камердинера. – Как старая Лиза учинила мятеж, а министр Циннобер, обратившись в бегство, поскользнулся. – Каким удивительным образом объяснил лейб-медик скоропостижную смерть Циннобера. – Как князь Барсануф был опечален, как он ел лук и как утрата Циннобера осталась невознаградимой.

Карета министра Циннобера почти всю ночь тщетно простояла перед домом Моша Терпина. Егерю не раз говорили, что их превосходительство, должно быть, уже давно оставили общество, но егерь полагал, что это никак невозможно, ибо не побежит же их превосходительство домой пешком в такой дождь и ветер. А когда наконец потушили все огни и заперли двери, егерю все же пришлось отбыть с пустой каретой, однако в доме министра он тотчас же разбудил камердинера и спросил, воротился ли министр домой и – праведное небо! – каким образом это случилось.

– Их превосходительство, – шепнул камердинер ему на ухо, – их превосходительство вчера воротились домой поздно вечером, это доподлинно. Они легли в постель и теперь почивают! Однако ж! Дорогой егерь! в каком виде! каким образом! я вам про все расскажу, – но... чур, молчок! я пропал, коли их превосходительство узнают, что это я повстречался им в темном коридоре, я лишусь должности, ибо хотя их превосходительство и невеликоньки ростом, однако же обладают чрезмерно крутым нравом, скоры на гнев и не помнят себя в ярости, еще вчера они без усталости кололи шпагой дрянную мышь, осмелившуюся прошмыгнуть через опочивальню их превосходительства. Ну, ладно! Так вот, накидываю я в сумерках свой плащишко и собираюсь улизнуть в кабачок через дорогу – сыграть партию в трик-трак, вдруг на лестнице что-то как зашуршит, как зашаркает – прямо на меня, проскакивает в темном коридоре у меня промеж ног, падает на пол и подымает пронзительный кошачий визг, а потом хрюкает. О боже! Егерь! Только попридержите язык, вы – благородный человек, а не то я пропал. Подойдите-ка поближе! И хрюкает, как имеет обыкновение хрюкать наша милость, их превосходительство, когда повар пережарит телятину или в государстве творится что-нибудь неладное.

Последние слова камердинер прошептал егерю на ухо, прикрыв рот рукой. Егерь отпрянул,ostroил недоверчивую мину и воскликнул:

– Возможно ли?

– Да, – продолжал камердинер, – нет никакого сом-нения, что это наша милость, их превосходительство, проскочило у меня промеж ног в коридоре. Я слышал явственно, как их милость гремели стульями по комнатам и хлопали дверьми, пока не добрались до опочивальни. Я не отважился пойти следом, но, переждав несколько часов, подкрался к двери спальни и прислушался. И вот их превосходительство изволят храпеть, как то у них в обыкновении перед великими делами. Егерь! «И на земле и в небесах есть многое, о чем еще не грезила земная наша мудрость!» – как довелось мне слышать в театре; это говорил какой-то меланхолический принц; он был одет во все черное и очень боялся другого, расхаживавшего в серых картонных латах. Егерь, вчера, верно, случилось нечто весьма удивительное, что принудило их превосходительство воротиться домой. У профессора в гостях был князь, быть может, он что-либо проронил о том о сем, какая-нибудь приятная реформочка – и вот министр тотчас взялся за дело, спешит с помолвки и начинает трудиться на благо отечества. Я-то уж сразу приметил по храпу: случится что-то значительное. Предстоят великие перемены! Ох, егерь, быть может, нам всем рано или поздно придется снова отращивать косы! Однако ж, бесценный друг, пойдем да послушаем как верные слуги у дверей спальни, все ли еще их превосходительство почивают в постели и заняты своими сокровенными мыслями.

Оба – камердинер и егерь – прокрались к дверям и прислушались. Циннобер ворчал, храпел и свистел, пуская удивительнейшие рулады. Слуги застыли в немом благоговении, и камердинер сказал растроганно:

– Какой, однако ж, великий человек наш милостивый господин министр!

Рано поутру в прихожей дома, где жил министр, поднялся великий шум. Старая крестьянка, одетая в жалкое, давно полинявшее праздничное платье, вторглась в дом и стала просить швейцара немедля провести ее к сыночку – крошке Цахесу. Швейцар соизволил пояснить, что в доме живет его превосходительство господин министр фон Циннобер, кавалер ордена Зелено-пятнистого тигра с двадцатью пуговицами, а среди прислуги никого нет, кого зовут или прозывают крошкой Цахесом. Но тут женщина, ошалев от радости, закричала, что господин министр с двадцатью пуговицами – как раз ее любезный сыночек, крошка Цахес. На крики старухи, па раскатистую брань швейцара сбежался весь дом, и гомон становился все сильнее и сильнее. Когда камердинер спустился вниз, чтобы разогнать людей, столь бессовестно тревожащих утренний покой его превосходительства, женщину, которую все почли рехнувшейся, уже выталкивали на улицу.

Женщина присела на каменные ступени дома, расположенного напротив, и стала всхлипывать и горько сетовать на злых людей, которые не захотели допустить ее к любезному дитятке, крошке Цахесу, что сделался министром. Мало-помалу вокруг нее собралось множество народу, которому она беспрестанно повторяла, что министр Циннобер не кто иной, как ее сын, которого она в малолетстве называла крошкой Цахесом, так что люди под конец уже не знали, считать ли эту женщину безумной или, быть может, тут и в самом деле что-то кроется.

Старуха не сводила глаз с окон Циннобера. Вдруг она звонко рассмеялась, радостно захлопала в ладоши и прегромко закричала:

– Вот оно, вот оно, мое дитятко ненаглядное – мой крохотный гномик! С добрым утром, крошка Цахес! С добрым утром, крошка Цахес!

Все взглянули вверх и, завидев маленького Циннобера, который стоял в багряно-красном расшитом платье, с орденской лентой Зелено-пятнистого тигра, у окна, доходившего до самого пола, так что сквозь большие стекла была явственно видна вся его фигура, принялись смеяться без удержу, шуметь и горланить:

– Крошка Цахес! Крошка Цахес! Ага, поглядите только на маленького разряженного павиана! Несуразный выродок! Альраун! Крошка Цахес! Крошка Цахес!

Швейцар, все слуги Циннобера повыбежали на улицу, чтоб поглядеть, чего это народ так смеется и потешается. Но едва они завидели своего господина, как, залившись бешеным смехом, принялись кричать громче всех:

– Крошка Цахес! Крошка Цахес! Уродец! Мальчик с пальчик! Альраун!

Казалось, министр только теперь заметил, что причиной беснования на улице был он сам, а не что-нибудь иное. Циннобер распахнул окно, засверкал на толпу гневными глазами, закричал, забушевал, стал от ярости выделять диковинные прыжки, грозил стражей, полицией, тюрьмой и крепостью.

Но, чем больше бушевали и гневались их превосходительство, тем неистовой становились смех и суматоха. В злополучного министра принялись бросать камнями, плодами, овощами – всем, что подвертывалось под руку. Ему пришлось скрыться.

– Боже праведный! – вскричал камердинер в ужасе. – Да ведь это мерзкое чудовище выглянуло из окна их превосходительства. Что б это значило? Как попал этот маленький ведьменьш в покой? – С этими словами он кинулся наверх, но спальня министра была по-прежнему на запоре. Он отважился тихонько постучать – никакого ответа!

Меж тем, бог весть каким образом, в народе разнеслась глухая молва, что это уморительное чудовище, стоявшее у окна, и впрямь крошка Цахес, принявший гордое имя «Циннобер» и возвеличившийся всяческим бесчестным обманом и ложью. Все громче и громче раздавались голоса: «Долой эту маленькую бестию! Долой! Выколотить его из министерского камзола! Засадить его в клетку! Показывать его за деньги на ярмарках! Оклеить его сусальным золотом да подарить детям вместо игрушки. Наверх! Наверх!» И народ стал ломиться в дом.

Камердинер в отчаянии ломал руки.

– Возмущение! Мятаж! Ваше превосходительство! Отворите! Спасайтесь! – кричал он, но ответа не было; слышался только тихий стон.

Двери были выломаны, народ с диким хохотом затопал по лестницам.

– Ну, пора, – сказал камердинер и, разбежавшись, изо всех сил налетел на дверь кабинета,

так что она со звоном и треском соскочила с петель. Их превосходительства – Циннобера – нигде не было видно!

– Ваше превосходительство! Милостивейшее превосходительство! Неужто вы не слышите возмущения? Ваше превосходительство! Милостивейшее превосходительство! Да куда же вы... господи, прости мое прегрешение, да где же это вы изволите находиться?

Так кричал камердинер, бегая по комнатам в совершенном отчаянии. Но ответа не было; только мраморные стены отзывались насмешливым эхом. Казалось, Циннобер исчез без следа, без единого звука. На улице поутихло. Камердинер слышал звучный женский голос, обращавшийся к народу, и, глянув в окно, увидел, что люди мало-помалу расходятся, перешептываясь и подозрительно посматривая на окна.

– Возмущение, кажется, прошло, – сказал камердинер. – Ну, теперь их милостивое превосходительство, наверное, выйдут из своего убежища.

Он опять прошел в опочивальню в надежде, что в конце концов министр объявится там.

Он испытующе смотрел по сторонам и вдруг заметил, что из красивого серебряного сосуда с ручкой, всегда стоявшего подле самого туалета, ибо министр весьма им дорожил как бесценным подарком князя, торчат совсем маленькие худенькие ножки.

– Боже, боже! – вскричал в ужасе камердинер. – Боже, боже! Коли я не ошибаюсь, то эти ножки принадлежат их превосходительству, господину министру Цинноберу, моему милостивому господину. – Он подошел ближе и окликнул, трепеща от ужаса и заглядывая в глубь сосуда: – Ваше превосходительство! Ваше превосходительство, ради бога, что вы делаете? Чем вы заняты там, внизу?

Но так как Циннобер не отзывался, то камердинер воочию убедился в опасности, в какой находилось их превосходительство, и что пришло время отрешиться от всякого решпекта. Он схватил Циннобера за ножки и вытащил его. Ах, мертв, мертв был он – маленькое их превосходительство! Камердинер поднял громкий горестный вопль, егеря, слуги поспешили к нему, побежали за лейб-медиком князя. Тем временем камердинер вытер досуха своего бедного, злополучного господина чистыми полотенцами, положил его на постель, укрыл шелковыми подушками, так что на виду осталось только маленькое сморщенное личико.

Тут вошла фрейлейн фон Розеншен. Сперва она, бог весть каким образом, успокоила народ. Теперь она подошла к бездыханному Цинноберу; за ней следовала старая Лиза, родная мать крошки Цахеса. Циннобер теперь на самом деле был красивее, чем когда-либо при жизни. Маленькие глазки были закрыты, носик бел, уста чуть тронула нежная улыбка, а главное – вновь прекрасными локонами рассыпались темно-каштановые волосы. Фрейлейн провела рукой по голове малыша, и на ней в тот же миг тускло зажглась красная полоска.

– О! – воскликнула фрейлейн, и глаза ее засверкали от радости. – О Проспер Альпанус! Великий мастер, ты сдержал слово! Жребий его свершился, и с ним искуплен весь позор!

– Ах, – молвила старая Лиза. – Ах, боже ты мой милостивый, да ведь это не крошка Цахес, тог никогда не был таким пригожим! Так, значит, я пришла в город совсем понапрасну, и вы мне неладно присоветовали, – досточтимая фрейлейн!

– Не ворчи, старая, – сказала фрейлейн. – Когда бы ты хорошенько следовала моему совету и не вторглась в дом раньше, чем я сюда пришла, то все было бы для тебя лучше. Я повторяю, – малыш, что лежит тут в постели, воистину и доподлинно твой сын, крошка Цахес.

– Ну, – вскричала старуха, и глаза ее заблестели, – ну, так ежели их маленькое превосходительство и впрямь мое дитяtko, то, значит, мне в наследство достанутся все красивые вещи, что тут стоят вокруг, весь дом, со всем, что в нем есть?

– Нет, – ответила фрейлейн, – это все миновало, ты упустила надлежащее время, когда могла приобрести деньги и добро. Тебе, – я сразу о том сказала, – тебе богатство не суждено!

– Так нельзя ли мне, – сказала старуха, и у нее па глазах навернулись слезы, – нельзя ли мне хоть, по крайности, взять моего бедного малыша в передник и отнести домой? У нашего пастора много хорошеньких чучел – птичек и белочек; он набьет и моего крошку Цахеса, и я поставлю его на шкаф таким, как он есть, в красном камзоле, с широкой лентой и звездой на груди, на вечное вспоминание!

– Ну, ну! – воскликнула фрейлейн почти с досадой. – Ну, это совсем вздорная мысль! Это никак невозможно!

Тут старушка принялась всхлипывать, жаловаться и сетовать:

– Что мне от того, что мой крошка Цахес достиг высоких почестей и большого богатства! Когда б остался он у меня, я бы взрастила его в бедности, и ему б никогда не привелось упасть в эту проклятую серебряную посудину, он бы и сейчас был жив и доставлял бы мне благополучие и радость. Я носила бы его в своей корзине по округе, люди жалели бы меня и бросали бы мне монеты, а теперь...

В передней послышались шаги, фрейлейн спровадила старуху, наказав ей ждать внизу у ворот, – перед отъездом она вручит ей надежное средство разом избавиться от всякой нужды и напасти.

И вот Розабельверде опять приблизилась к мертвому и мягким, дрожащим, исполненным глубокой жалости голосом сказала:

– Бедный Цахес! Пасынок природы! Я желала тебе добра. Верно, было безрассудством думать, что внешний прекрасный дар, коим я наделила тебя, подобно лучу, проникнет в твою душу и пробудит голос, который скажет тебе: «Ты не тот, за кого тебя почитают, но стремись сравняться с тем, на чьих крыльях ты, немощный, бескрылый, взлетаешь ввысь». Но внутренний голос не пробудился. Твой косный, безжизненный дух не мог воспрянуть, ты не отстал от глупости, грубости, непристойности. Ах! Если бы ты не поднялся из ничтожества и остался маленьким, неотесанным болваном, ты б избежал постыдной смерти! Проспер Альпанус позаботился о том, чтобы после смерти тебя вновь приняли за того, кем ты моею властью казался при жизни. Быть может, мне доведется еще увидеть тебя маленьким жучком, шустрой мышкой или проворной белкой, я буду этому рада! Спи с миром, крошка Цахес!

Едва только Розабельверде оставила комнату, как вошли лейб-медик князя и камердинер.

– Ради бога, – вскричал медик, увидев мертвого Циннобера и убедившись, что все средства возвратить его к жизни тщетны, – ради бога, господин камердинер, как это случилось?

– Ах, – отвечал тот, – ах, любезный господин доктор, возмущение – или революция, – все равно как вы это ни назовете, – шумела и бушевала в прихожей ужаснейшим образом. Их превосходительство, опасаясь за свою драгоценную жизнь, верно, намеревались укрыться в туалет, поскользнулись и...

– Так, значит, – торжественно и растроганно сказал доктор, – так, значит, он умер от боязни умереть!

Двери распахнулись, и в опочивальню стремительно вбежал бледный князь Барсануф, за ним семь камергеров, еще бледнее.

– Неужто правда? Неужто правда? – воскликнул князь; но едва он завидел тельце усопшего, как отпрянул и, возведя очи горе, сказал голосом, исполненным величайшей скорби: – О Циннобер!

И семь камергеров воскликнули вслед за князем: «О Циннобер!» – и вытащили, подобно князю, носовые платки и поднесли их к глазам.

– Какая утрата, – начал князь по прошествии нескольких минут безмолвной горести, – какая невознаградимая утрата для государства! Где сыскать государственного мужа, который бы с таким же достоинством носил орден Зелено-пятнистого тигра с двадцатью пуговицами, как мой Циннобер. Лейб-медик, как допустили вы, чтоб у меня умер такой человек! Скажите, как это случилось, как могло это стать, какая была тому причина, от чего умер несравненный?

Лейб-медик весьма заботливо осмотрел малыша, ощупал все места, где раньше бился пульс, провел рукой по голове усопшего, откашлялся и повел речь:

– Мой все милостивый повелитель! Если бы я должен был довольствоваться только видимой поверхностью явлений, то я мог бы сказать, что министр скончался от полного отсутствия дыхания, а это отсутствие дыхания произошло от невозможности дышать, каковая невозможность, в свою очередь, произведена стихией, гумором, той жидкостью, в которую низвергся министр. Я бы мог сказать, что, таким образом, министр умер гумористической смертью, однако ж я далек от суждений столь неосновательных, я чужд страсти объяснять, исходя из физических начал, то, что естественно и неопровержимо покоится на чисто психических началах. Мой все милостивейший князь, честный муж говорит напрямик! Первопричина смерти министра была заключена в ордене Зелено-пятнистого тигра с двадцатью

пуговицами!

– Как? – воскликнул князь, гневно сверкнув очами на лейб-медика. – Как? Что вы сказали? Орден Зелено-пятнистого тигра с двадцатью пуговицами, который усопший с таким достоинством, с таким изяществом носил на благо государства, – в этом причина его смерти? Приведите мне доказательства или... камергеры, какого вы на сей счет мнения?

– Он должен привести доказательства, он должен привести доказательства, или... – воскликнули все семь бледных камергеров, и лейб-медик продолжал:

– Мой славный, всемилостивейший князь! Я это докажу, и потому не надо никакого «или»! Дело обстоит следующим образом: тяжелый орденский знак на ленте, особенно же пуговицы на спине оказывали вредное действие на ганглии станового хребта. И в то же время орденская звезда производила давление на то узловато-волоконистое сращение между грудобрюшной преградой и верхней брыжейной жилой, которое мы называем солнечным сплетением и которое преобладает в лабиринте прочих нервных сплетений. Сей доминирующий орган находится в многообразнейших отношениях с церебральной системой, и естественно, что пагубное воздействие на ганглии было также вредоносно и для него. Но разве нерушимое отправление церебральной системы не есть необходимое условие сознания, личности как выражения совершеннейшего соединения целого в едином фокусе? Не является ли весь жизненный процесс деятельностью в обеих сферах, в ганглиональной и церебральной системах? Итак, помянутое пагубное воздействие нарушило функции психического организма. Сперва появились мрачные мысли о тайном самопожертвовании на благо государства через болезненное ношение ордена и тому подобное; состояние становилось все более опасным, пока полная дисгармония между ганглиональной и церебральной системами не привела к совершенному исчезновению сознания, полному уничтожению личности. Это состояние мы и обозначаем словом «смерть»! Да, всемилостивейший повелитель, министр уже утратил свою личность и был, таким образом, совершенно мертв, когда низвергался в этот роковой сосуд. А посему причина его смерти была не физическая, а неизмеримо более глубокая – психическая.

– Лейб-медик, – сказал князь с неудовольствием, – Лейб-медик, вы болтаете битых полчаса, но будь я проклят, ежели понял хоть одно слово. Что вы разумеете под физическим и психическим?

– Физический принцип, – снова заговорил медик, – есть условие чисто вегетативной жизни, психический же, напротив, обуславливает человеческий организм, который находит двигателя своего бытия лишь в духе, в способности мышления.

– Я все еще, – воскликнул князь с величайшей досадой, – все еще не понимаю вас, невразумительный вы человек!

– Я полагаю, – сказал доктор, – я полагаю, светлейший князь, что физическое относится только к чисто вегетативной жизни, лишенной способности мышления, как это имеет место у растений, психическое же относится к способности мышления. Но ежели последнее в человеческом организме главенствует, то медику надлежит всегда начинать со способности мышления, с области духа, и взирать на тело только как на вассала духа, который должен повиноваться, коль скоро этого пожелает его повелитель.

– Ого! – воскликнул князь. – Ого! Лейб-медик, оставьте вы это! Лечите вы мое тело и отложите попечение о моем духе, который еще никогда не доставлял мне беспокойства. Вообще, лейб-медик, вы препотешный человек, и если бы я не стоял сейчас возле тела своего министра и не был так растроган, я б знал, как мне поступить. Ну, камергеры, прольем еще слезу над ложем усопшего и отправимся обедать.

Князь приложил платок к глазам и всхлипнул, камергеры поступили точно так же; потом все вышли.

Возле дверей стояла старая Лиза, навесившая на руку несколько вязок прекраснейшего золотистого луку, лучше какого не сыскать. Ненароком взгляд князя упал на эти овощи. Он остановился, скорбь исчезла с его лица: он ласково и милостиво улыбнулся и промолвил:

– Во всю жизнь не доводилось мне видеть столь прекрасных луковиц, должно быть, они превосходны на вкус! Вы их продаете, любезная?

– Как же, – ответила Лиза, низко приседая, – как же, милостивейшая ваша светлость, продажей лука я снискиваю себе, как только могу, скудное пропитание. Они сладки, как чистый

мед. Не угодно ли отведать, милостивейший господин?

Тут она протянула князю вязку самых ядреных, самых блестящих луковиц. Тот взял, улыбнулся, причмокнул и воскликнул:

– Камергеры, пусть один из вас подаст мне ножик! – Получив нож, князь бережно и изящно очистил луковицу и отведал.

– Какой вкус! Какая сладость! Какая прелесть! Какой огонь! – воскликнул он, и глаза его заблестели от восхищения. – Мне словно чудится, будто я вижу перед собой покойного Циннобера, который кивает мне и шепчет: «Покупайте, ешьте эти луковицы, мой князь, этого требует благо государства».

Князь сунул старой Лизе несколько золотых, и камергеры принуждены были рассовать по карманам остальные вязки. Более того! Он определил, чтоб впредь, кроме старой Лизы, никто другой не поставлял лук для княжеских завтраков. И вот мать крошки Цахеса, не став, правда, богачкой, избавилась от всякой нужды и бедности, и, наверно, в этом ей помогли тайные чары доброй феи Розабельверде.

Погребение министра Циннобера было одним из самых великолепных, какие когда-либо доводилось видеть в Керепесе; князь, все кавалеры ордена Зелено-пятнистого тигра в глубоком трауре следовали за гробом. Звонили во все колокола, даже несколько раз выстрелили из обеих маленьких мортир, кои с великими издержками были приобретены князем для фейерверков. Горожане, народ – все плакали и сокрушались, что отечество лишилось лучшей своей опоры и что у кормила правления, верно, никогда больше не станет государственный муж, исполненный столь глубокого разума, величия души, кротости и неутомимой ревности ко всеобщему благу, как Циннобер.

И в самом деле, потеря эта осталась невознаградимой, ибо никогда больше не сыскалось министра, которому пришлось бы так впору орден Зелено-пятнистого тигра с двадцатью пуговицами, как отошедшему в вечность незабвенных Цинноберу.

Глава последняя

Слезная просьба автора. – Как профессор Мош Терпин успокоился, а Кандида уже никогда больше не могла рассердиться. – Как золотой жук прожужжал что-то на ухо доктору Просперу Альпанусу и как тот уехал, а Бальтазар стал жить в счастливом супружестве.

Близится время, когда тот, кто пишет для тебя, любезный читатель, эти листы, принужден будет с тобой расстаться, и его охватывают тоска и робость. Еще много-много знает он о примечательных деяниях маленького Циннобера и весьма охотно пересказал бы тебе все это, о мой читатель, ибо страсть, родившаяся в его душе, с непреодолимой силой побудила его написать эту повесть! Но! оглядываясь на все события, как они были представлены в предшествовавших девяти главах, чувствует он, что в них уже содержится столько диковинного, безрассудного, противного трезвому разуму, что, нагромождая еще множество подобных вещей, он подвергнет себя опасности, злоупотребив твоим доверием, любезный читатель, совсем с тобой не поладить. Он умоляет тебя с тоской и робостью, столь внезапно стеснившими его грудь, когда он написал «Глава последняя», – да будет тебе угодно с истинной веселостью и нестесненным сердцем созерцать эти странные образы, даже сдружиться с ними; они внушены поэту призрачным духом – Фантазусом, – чьей причудливой, прихотливой натурой он, быть может, позволил чересчур увлечь себя. А посему не хмурься на обоих – поэта и причудливого духа! А если ты, любезный читатель, изредка кое-чему улыбался про себя, то ты был в том самом расположении духа, какое желал вызвать пишущий эти страницы, и тогда, думает он, ты многое не вменишь ему в вину.

Собственно, эта повесть могла бы закончиться трагической смертью маленького Циннобера. Но разве не приятнее будет, когда вместо печального погребения ее завершит радостная свадьба?

Итак, коротко вспомним еще о прелестной Кандиде и счастливом Бальтазаре.

Профессор Мош Терпин раньше был просвещенный, искушенный человек, который,

согласно мудрому изречению: «Nil admirari»,⁶ уже много-много лет ничему на свете не удивлялся. Но теперь, отрешившись от всей своей мудрости, он принужден был непрестанно удивляться, так что под конец стал жаловаться, что он больше не знает, впрямь ли он профессор Мош Терпин, который прежде управлял всеми естественными делами в государстве, и действительно ли он еще расхаживает на своих ногах, вверх головой.

Сперва он удивился, когда Бальтазар представил ему доктора Проспера Альпануса как своего дядю и тот показал дарственную запись, в силу коей Бальтазар сделался владельцем расположенного в часе езды от Керепеса сельского дома, вместе с прилежащими лесными угодьями, полями и лугами; он едва поверил своим глазам, когда увидел, что в инвентарной росписи помянута драгоценнейшая утварь, даже золотые и серебряные слитки, ценность которых превосходила все богатство княжеской сокровищницы. Потом он удивился, поглядев через Бальтазаров лорнет на великолепный гроб, в котором покоился Циннобер, и ему внезапно показалось, что никакого министра Циннобера никогда и не было, а был всего только маленький, нескладный, неотесанный уродец, коего ненароком почли за сведущего, мудрого министра Циннобера.

Удивление Моша Терпина достигло величайшей степени, когда Проспер Альпанус стал водить его по дому, показывая свою библиотеку и другие весьма диковинные вещи, и даже произвел целый ряд изящных опытов с редкостными растениями и животными.

Профессору пришло на ум, что все его исследования по части естественной истории ровно ничего не стоят и он заключен в великолепный, пестрый, волшебный мир, словно в яйцо. Эта мысль так всполошила его, что под конец он принялся жаловаться и плакать, как ребенок. Бальтазар тотчас же отвел его в поместительный винный погреб, где взору профессора представились лоснящиеся бочки и сверкающие бутылки. Здесь, полагал Бальтазар, ему будет вольготнее производить штудии, нежели в княжеском погребе, и он сможет вдосталь испытывать природу в прекрасном парке.

Тут профессор успокоился.

Свадьбу Бальтазара справляли в загородном доме. Он, его друзья – Фабиан, Пульхер, все дивились несравненной красоте Кандиды, волшебной прелести ее одеяния, всего существа. То в самом деле были чары, ибо присутствовавшая на свадьбе, под видом канониссы фон Розеншен, фея Розабельверде, позабыв свой гнев, сама одела Кандиду и убрала ее пышными и прекрасными розами. А ведь хорошо известно, что платье пойдет хоть кому, ежели за дело возьмется фея. Кроме того, Розабельверде подарила прелестной невесте сверкающее ожерелье, магическое действие коего проявлялось в том, что, надев его, она уже никогда не могла быть раздосадована какой-нибудь безделицей, дурно завязанным бантом, плохо удавшейся прической, пятном на белье или чем-нибудь тому подобным. Эта способность, которой ожерелье наделяло Кандиду, придавала ее лицу особенную прелесть и приветливую веселость.

⁶ Ничему не удивляться (лат.).



Молодые были на седьмом небе и – такое действие оказывали на них тайные чары мудрого Альпануса – все ж находили слова и взоры для собравшихся милых друзей. Проспер Альпанус и Розабельверде позаботились о том, чтобы день свадьбы был ознаменован прекраснейшими чудесами. Повсюду из кустов и деревьев доносилась сладостная гармония любви, меж тем как из-под земли вырастали мерцающие столы, обремененные великолепнейшими яствами и хрустальными графинами, из которых струилось благороднейшее вино, разливавшееся огнем по жилам.

Настала ночь, и огненные радуги перекинулись над парком, и сверкающие птицы и насекомые запорхали вокруг, и, когда они встряхивали крыльями, с них сыпались миллионы искр и составляли различные прелестные фигуры, которые беспрестанно сменялись, плясали и кувыркались в воздухе и внезапно исчезали в кустах. И все громче звучала лесная музыка, и ночной ветер разносил таинственный шепот и сладостное благоухание.

Бальтазар, Кандида, гости признали действие могущественных чар Проспера Альпануса, но Мош Терпин, захмелев, громко смеялся и уверял, что за всем этим скрывается не кто иной, как продувной молодчик – оперный декоратор и фейерверкер князя.

Раздались резкие удары колокола. Блестящий золотой жук опустился на плечо Проспера Альпануса и, казалось, что-то тихонько прожужжал ему на ухо.

Проспер Альпанус поднялся со своего места и сказал торжественно и серьезно:

– Любезный Бальтазар, прелестная Кандида, друзья мои! Настало время – Лотос зовет, я принужден с вами расстаться!

Тут он подошел к юной чете и стал с ней тихо беседовать. Бальтазар и Кандида были

очень растроганы; казалось, Проспер преподал им различные благие советы; он обнял их с нежной горячностью.

Затем он обратился к фрейлейн фон Розеншен и так же тихо заговорил с ней, – вероятно, она надавала ему различные поручения по части волшебства и фей, и он весьма охотно взялся их исполнить.

Меж тем с облаков спустилась маленькая хрустальная карета, влекомая двумя сверкающими стрекозами, которыми правил серебристый фазан.

– Прощайте, прощайте! – воскликнул Проспер Альпанус, сел в карету и стал подниматься все выше и выше над полыхающими радугами, пока наконец не сверкнул в небесной выси маленькой звездочкой, скрывшейся в облаках.

– Прекрасный Монгольфьер! – прохрипел Мош Терпин и, одоленный вином, погрузился в глубокий сон.

Бальтазар, вняв советам Проспера Альпануса, извлекая разумную пользу из обладания чудесной усадьбой, сделался в самом деле хорошим поэтом, а так как другие свойства этого имени, о которых говорил, имея в виду Кандиду, Проспер Альпанус, вполне оправдались и так как Кандида никогда не снимала ожерелья, подаренного ей на свадьбе канониссой Розеншен, то Бальтазар зажил в счастливом супружестве, радости и блаженстве, как только мог когда-либо зажить поэт с прелестной и молодой женой.

И, таким образом, сказка о крошке Цахесе, по прозвищу Циннобер, теперь и впрямь получила радостный конец.